

## **Николай Иванович Иванов**

### **Воспоминания театрального антрепренера**

Воспоминания эти записаны мною со слов престарелого провинциального антрепренера, Николая Ивановича Иванова, справившего уже давно пятидесятилетний юбилей своей театральной деятельности. В настоящее время, это самый старый русский актер, бывший очевидцем первых шагов провинциальных сцен и способствовавший с редкой энергией их широкому развитию. Он исколесил положительно всю Россию и везде был желанным гостем, так как его труппа всегда отличалась прекрасным составом. Иванов умел ценить таланты, умел их найти и группировать, - в этом его главная заслуга. С его легкой руки и пошли в ход многие знаменитости и столичные сцены обязаны ему не одним десятком даровитых актеров, силы которых окрепли на подмостках его театров.

Всю свою долгую жизнь Николай Иванович провел в непрерывных путешествиях по градам и весям Российской империи. С удивительной быстротой он переезжал из края в край своей родины, услаждая земляков театральным зрелищем. Антрепренерствовал он преимущественно в поволжских городах, но был и в Сибири, и в Привислянском крае, и даже на таких лечебных курортах, как Гапсаль, Эзель и проч. Поименовать все города, в которых он играл, значило бы - перечислить добрую половину "рописи населенных мест России", а потому ограничимся только главными: Казань, Оренбург, Архангельск, Екатеринбург, Ирбит, Омск, Томск, Рига, Ревель, Ярославль, Рыбинск, Нижний Новгород, Динабург, Витебск, Кострома, Тверь, Новгород, Самара, Саратов, Симбирск и многие другие.

В его памяти сохранились подробные воспоминания о прожитом времени, пестром по разнообразию впечатлений, встреч и знакомств. Имена и факты он передает с отчетливостью, достойною удивления, если принять во внимание его восьмидесятилетний возраст, относительно же хронологии - этого сказать про. него нельзя: цифры весьма туго поддаются его

припоминанию, а потому во многих местах приходится прибегать к приблизительному времени. Впрочем, это нисколько не мешает занимательности воспоминаний старейшего антрепренера, близкого приятеля П.М. Садовского, Д.Т. Ленского, И.В. Самарина, В.И. Живокини, а отчасти В.В. Самойлова, М.С. Щепкина, Павла Васильева, и многих других артистов.

М.В. Шевляков

## I

*Мое происхождение. - Отец. - Пребывание в Костроме. - Кадетский корпус. - В.Е. Обрезков, антрепренер-помещик. - Генерал А.С. Карцев. - Первое посещение театра. - Дебют в опере "Русалка". - Мой первый заработок. - Поступление в актеры. - Учительство. - Домашний театр Карцева. - Арест.*

Мой отец, германский подданный Жиоф, в начале нынешнего столетия был владельцем большой фабрики в Москве, которую унаследовал от своего отца, поселившегося в России вместе с своим семейством в конце прошлого века. На этой фабрике выделывали берды - инструмент для тканья полотна. По роду промышленности - моего отца москвичи называли Бярдниковым, и кличка эта так привилась, что, после 1812 года, отец выбрал ее своею фамилией при переходе в российские граждане, который состоялся согласно высочайшему указу о принятии иностранцами подданства России или немедленного выезда из нее.

Перед вторжением в Москву французов, отец вместе с моею матерью и мною, тогда грудным младенцем, отправился в Кострому. Фабрику свою он, разумеется, оставил на произвол судьбы. В достопамятный пожар она сгорела дотла, совершенно разорив отца, потому что в огне погибло все ценное и необходимое для продолжения работ, если бы он захотел, по истечении тяжелого времени, приняться за свое дело опять. Он ничего не мог спасти, при торопливом выезде из Москвы, кроме небольшого пакета с наличными деньгами, которых не хватило бы ни на какое, даже самое скромное, начало

фабричной деятельности. Таким образом, отец принужден был бросить всякие попытки стать на прежнюю дорогу и продолжать безбедное существование.

В силу материальных стеснений, пришлось остаться в Костроме совсем и перебиваться с копейки на копейку, тем более, что вывезенный из Москвы капитал приходил к концу и нам грозила нищета, а между тем семейство наше с каждым годом увеличивалось и предъявляло отцу все большие и большие требования. Внимая голосу нужды, отец пристроился на какое-то малооплачиваемое место и занимал его до самой смерти, случившейся в начале двадцатых годов, когда я был еще подростком.

Не задолго до своей кончины, отец отдал меня в кадетский корпус, который временно находился в Костроме. Этот корпус со всеми своими воспитанниками в двенадцатом году был переселен из Москвы в наш город и, по истечении сравнительно большого времени, снова был водворен в свое прежнее московское помещение. В Костроме он занимал большое здание на нынешней Кишиневской, а в то время Русиной, улицы, которое впоследствии было перестроено в театр, впрочем, существовавший весьма непродолжительное время.

Вскоре по поступлении моем в корпус, вышел приказ, в котором говорилось, что в корпусах могут учиться только дети потомственных дворян, а так как я значился купеческим сыном, то меня уволили в числе прочих несчастных разночинцев. Проучился я всего на всего семь месяцев и этим ограничилось мое образование. Значит, всю жизнь я руководствовался только теми премудростями, которые мог усвоить в этот короткий период времени.

Будучи восьми лет, я пел на клиросе в церкви Всех Святых, на Дворцовой улице, и обладая верным слухом, музыкальною памятью и недурным альтом, я сделался заметным певчим и встретил как со стороны причта, так и со стороны прихожан, поощрение, выражавшееся пока в ласках...

Антрепренер костромского театра, Василий Евграфович Обрезков, богатый помещик, имевший более 800 душ крестьян, услышав мое пение в церкви, пристал к моему отцу, чтобы он разрешил мне выступить в его театре, в партии мальчика в старинной опере "Русалка". Обрезков объяснил надобность во мне тем, что ни один из мальчуганов его двора, и дворня генерала Карцева, не оказывается способным к музыке и не может справиться с незначительным в вокальном отношении номером оперы. Отец согласился и, по просьбе Обрезкова, повел меня в театр смотреть первую часть "Русалки", которая состояла из четырех частей, исполнявшихся не в одно представление разом, а дробившихся на четыре отдельные. Из посещения театра, по мнению антрепренера, я должен был вынести понятие об элементарных условиях сцены и ознакомиться с технической стороной исполнения. В первой части у меня выхода не было; я должен был выступить во второй...

Труппа Обрезкова состояла почти только из его дворовых и отчасти дворовых Александра Степановича Карцева, генерала в отставке, тоже богатого костромского помещика, мецената и любителя изящных искусств, которому принадлежал и театральный оркестр, состоявший из семидесяти музыкантов, во главе с немцем-капельмейстером, получавшим солидное жалованье от своего патрона. Кроме оркестра, Карцев имел два хора, специально церковные, мужской и женский, которые тоже изредка принимали участие в театре. Александр Степанович положительно благодетельствовал Обрезкову, не взимая с него ни копейки ни за актеров, ни за оркестр, ни за хоры. При таких благоприятных условиях, разумеется, антрепренеру было очень выгодно содержание театра, особенно если принять во внимание ничтожную стоимость помещения и совершенно бесплатную труппу. За то и места были баснословно дешевы, так что ни для какого бедняка не было затруднением посещать спектакли.

Многие из дворовых актеров Обрезкова были положительно талантливыми личностями и не даром пользовались расположением публики, смотревшей на крепостных комедиантов надменно и с пренебрежением. Из актеров по

специальности, не принадлежавших к дворне Обрезкова или Карцева, были только двое - бывший артист московского Малого театра Ширяев и дворянин Василий Карпович Васильев, позднее поступивший на сцену петербургского казенного театра. Оба они были очень талантливы и ценились костромичами по достоинству. Следует упомянуть об оригинальном составлении афиш в то время: дворовых прописывали прямо именем и прозвищем, а актеров с воли или людей принадлежащих к привилегированным классам общества, называли только по фамилии, перед которой выставлялась буква г., обращавшая на себя особенное внимание публики, привыкшей видеть перед собой только невольных исполнителей. Писались, например, афиши так:

Простаков - Андрей Волков.

Простакова - Маланья Найдена.

Митрофан, недоросль - Иван Кошелев.

Скотинин - Г. Васильев и т.д.

На меня театр произвел восторженное впечатление, и я с лихорадочным наслаждением следил за действиями актеров на сцене, искусно передававших различные душевные состояния, порывы, любовь, страх, ненависть. Особенно приковала мое внимание такая же маленькая девочка, как и я, игравшая роль Лиды, дочери русалки Лесты. С этой минуты я полюбил театр всю силою души и эта любовь сохранилась во мне на всю жизнь.

Во второй части "Русалки" я вместе с Лидой появлялся на сцене из волшебного яйца и пел дуэт, очень не сложный в музыкальном отношении. Слова этого дуэта в моей памяти сохраняются до сих пор:

"Нас пара. Мы будем

Примером других (?)

Целуемся, любим

Не меньше больших.

Мы так же умеем

Резвиться, плясать.

Но только не смеем

Себя показать".

Благодаря своему слуху, я быстро усвоил мотив и с двух репетиций бойко провел свою роль, за что удостоился больших похвал Обрезкова и получил от него в подарок талер, имевший цену четыре с полтиной на ассигнации. Этот первый заработок я долго сохранял, как дорогое воспоминание моего детства, но пожар Кронштадтского театра четверть века тому назад истребил его вместе со всем моим имуществом.

После удачного исполнения партии в "Русалке", мне стали поручать все детские роли, которые в старинном репертуаре встречались чаще, нежели в нынешнем. Но за них мне не полагалось уже никакого вознаграждения, кроме любезных слов, которыми наделял меня Карцев.

Отец, умирая, оставил меня, мальчика одиннадцати лет, главою семейства, состоявшего из пяти душ. Положение наше было ужасно - средств к существованию никаких. И если бы не Обрезков, взявший меня к себе на службу в качестве актера на десятирублевое жалованье, то всем нам грозила роковая перспектива, осложнявшаяся старостью матери и малолетством моих трех сестер. Времена были удивительно дешевые и на мое десятирублевое (ассигнациями) содержание могла существовать семья, разумеется, не позволяя себе особой роскоши и излишеств, но вполне сыто и достаточно.

Впрочем, актерствовал я в театре Обрезкова не очень долго, всего года два. Меня переманил к себе Карцев для занятий с его крепостными детьми, из которых он думал создать актеров. Для этой цели он отдал в мое распоряжение целый дом, ранее занимаемый разными приживалками и приживальщиками и устроил в нем сцену. Определенного жалованья он мне не положил, но дал даровую квартиру, стол и все необходимое, изредка

награждая и деньгами. Кроме того, Карцев разрешил мне устраивать спектакли и пускать на них публику

за плату, которая поступала всецело в мою пользу. Под моим руководством выработывались актеры и, в конце концов, образовалась целая труппа. Моя фанатическая преданность делу видимо нравилась Карцеву/и он, уверовав в мои преподавательские способности, поручил мне несколько взрослых из своих крепостных, которые с серьезным видом проходили у меня, пятнадцатилетнего мальчика, курс драматического искусства. В то время все совершалось очень просто.

Мои спектакли посещались публикою охотно в виду необычайно дешевой платы за вход. Это обстоятельство послужило поводом к раздору между Обрезковым и Карцевым, который отнял от Обрезкова свой оркестр, лишил его хора и запретил своим актерам выступать на его сцене. В это время мне было уже лет шестнадцать.

Оркестр и хоры перешли ко мне и мои спектакли, даваемые два раза в месяц, стали пользоваться еще большею популярностью. Обрезков стал резко пенять на Карцева и во всеуслышание обвинял меня, своего случайного конкурента, в умышленном уроне его дела. Не ограничиваясь частными жалобами, он сделал губернатору Ганскау официальное донесение на меня, "что вот-де какой-то мальчишка, по наущению генерала Карцева, устроил театр и отбивает у него публику".

Губернатор приказал полицеймейстеру арестовать меня и допросить, на каком основании я занимаюсь антрепризой без разрешения начальства?

Полицеймейстер призвал меня к себе и арестовал. Карцев, узнав об этом, немедленно отправился к губернатору.

- По какому праву вы арестовали моего любимца, утешавшего всю мою дворню?

- Мне сказали, ваше превосходительство, то-то и то-то...

- Вы тут только и живете сплетнями, - с презрением заметил Карцев и прибавил: - если вы, генерал, ссориться со мной не хотите, тотчас доставьте ко мне Иванова.

- Ну, разумеется, его сейчас же освободят, - сказал Ганскау, - тут очевидное недоразумение...

Тон разговора Карцева с губернатором был вероятно следствием того веса, который он имел при дворе...

В тот же день меня освободили из-под ареста, и я с прежней энергией принялся за свое театральное дело. Обрезков же после этой истории не особенно долго держал театр; ссора с Карцевым ему много повредила, лишив его самой главной и крупной поддержки.

## II

***Ширяев. - В.К. Васильев. - Ярославский антрепренер Лисицын. - К истории Ярославского театра. - Моя фамилия.***

В моей памяти очень свежо сохранились воспоминания о двух "вольных" актерах обширной труппы Обрезкова, - Ширяеве и Васильеве, с которыми я сдружился, не смотря на огромную разницу в наших летах.

Имя Ширяева я позабыл, быть может потому, что оно не было "на слуху", т.е. редко кто называл его по имени и отчеству, а все больше величали "господином Ширяевым". Актером он был безусловно талантливым и во многих трагических ролях не имел соперников, не только на нашей провинциальной сцене, но даже, как говорили, на петербургской, казенной.

Как товарищ, он был неоценим; всегда ласковый, обходительный, добрый. Все искренно привязывались к нему, и он привязывался ко всем, оказывавшим ему расположение... Быть может, он достиг бы славы и значения, если бы не предательская чарка с водкой, загубившая на Руси не одну самородную силу, избыточно наделенную искрою Божьей.



Ширяев был одним из первых приверженцев реализма на сцене и противников ходульности, выражавшейся главным образом в резкой приподнятости разговорной речи, ее неестественной певучести, часто переходившей в завывание, и угловатом манерничаньи. Между тем, актеры того времени весь свой успех основывали почти исключительно на этой ходульности, эффектной и приятной для невзыскательных зрителей, ценивших в актере прежде всего зычность голоса и натянutosть, которые, не смотря на всю свою фальшивость, тербели их податливые нервы.

Ширяев не выносил подобных исполнителей, присноравливавшихся ко вкусу публики и невежественно попиравших законы эстетики и естественность. Бывало, указывая на таких актеров, он раздраженно замечал Обрезкову:

- У вас не актеры, а собаки! Вишь как развылись! Вы бы приказали их метлой разогнать!..

А самому актеру обыкновенно говорил:

- Ты кто? Ты собака!

- То есть, как же это вы так...

- И дрянная собака, - не лаешь даже, а воешь...

Но все его замечания и указания оставались, разумеется, гласом вопиющего в пустыне. В понятиях тогдашних театралов никак не укладывалось чувство сценической правды.

Из жизни Ширяева я помню один замечательный факт, который приписывался, как остроумная проделка, многим провинциальным знаменитостям, но на самом деле, автором его является этот находчивый человек.

Ширяев почти всегда нуждался в деньгах и у него, бывало, не завалется ни одна копейка. Обрезков ссужал его редко и не охотно, так что ему вечно

приходилось прибегать к сторонним займам; впрочем, и эти сторонние займы имели предел, не потому, чтобы он не расплачивался, - нет, он был очень аккуратен и честен, а потому, что его жалели и на сколько было возможно берегли, так как все его деньги поглощались целиком виноторговлею.

В одну из критических минут, когда в кредите полу4Шкся безусловный отказ, - а это было незадолго до его бенефиса, - он отправляется к костромскому епископу Самуилу Запольскому-Платонову и рекомендуется актером местной труппы.

Несколько удивленный таким визитом, Самуил, однако, любезно его принимает и осведомляется, чем может быть он для него полезен?

- Развозя билеты на свой бенефис, - ответил Ширяев, отвесив низкий поклон, - и визиитуя всех почтенных представителей города, я не осмелился пропустить ваше преосвященство.

- Очень благодарен за внимание, - начал было владыко, - но, как вам, разумеется, не безызвестно...

- А у меня для вас припасено крайнее к выходу кресло, - перебил его Ширяев, доставая из кармана билет.

- Я ведь не могу посещать никакие зрелища...

- Отчего же? - наивно спрашивает Ширяев,

- Потому что духовному чину не приличествуют светские удовольствия, отчуждающие от мысли о молитве и порождающие всякие соблазны.

- А не посещая театра, что-нибудь слушать можете?

- Могу.

- Хотите я вам оду Державина "Бог" продекламирую?

- Прордекламируйте.

Ширяев встал в позу и так прочел оду, что епископ пришел в восторг и за билет, оставленный Ширяевым на столе, расплатился двадцатью пятью рублями. На эти деньги бенефициант "пожил в сласть", так что бенефис его пришлось отложить на неопределенное время.

Василий Карпович Васильев был тоже трагиком и тоже талантливым. Я помню оба его пребывания в Костроме - до и после Принятия на петербургскую сцену, а так же и страдальческую кончину его. Василий Карпович был замечательно красив и представительен: безукоризненная внешность его, при высоком росте и умной, с правильными чертами, физиономии, приковывала к себе взоры многих представительниц прекрасного пола и возбуждала затаенное соревнование. Счастливой победительницей оказалась жена знатного помещика К., очень изящная и привлекательная барыня. Завязался несложный, но таинственный роман, продолжавшийся впрочем не долгое время, по причине отъезда Васильева в Петербург на дебюты, которые устроил ему какой-то влиятельный знакомый. Он дебютировал на Александринской сцене в трагедии "Фингал" и сразу занял в казенной труппе не последнее место. Публика принимала его хорошо, и он слыл опасным соперником Каратыгина. Довольный столичным успехом, Василий Карпович раздобылся отпуском и совершил поездку в Кострому, где было для него так много приятных воспоминаний. Тотчас же Обрезков поставил несколько экстраординарных спектаклей "с участием артиста императорских театров", старого знакомого и любимца костромичей, и взял хорошие сборы.

Васильев встретился с г-жей К. и в сердцах молодых людей снова вспыхнула прежняя страсть, о которой каким-то образом уже знал "грозный и старый" К.

Очень неосторожный Василий Карпович, в один из темных вечеров отправился в усадьбу К., отстоявшую от Костромы в десяти-двенадцати верстах, и ловко прокрался на условное место, памятное по прежним свиданиям. Но как велико было его разочарование, когда вместо миловидной г-жи К., пред ним выросла внушительная фигура самого обманутого супруга,

окруженного толпой крепостных, с злорадством поджидавших появления непростенного гостя! За измену жены, К. жестоко отомстил Васильеву, которого еле-живым доставили в гостиницу. Тот же возница, который отвозил его целым и невредимым в усадьбу, привез его искалеченным обратно и сообщил, что К-ские крепостные вынесли его из роши, уложили в тарантас и приказали скорее убираться с их земли, чтобы еще хуже не было...

Ночью Васильев послал за мной номерного, который с испуганным выражением лица, чуть не вломился в мою квартиру и стал требовать, чтобы я немедленно отправился к Василию Карповичу.

- Что с ним? - спросил я посланного, торопливо одеваясь.

- К-ские мужики его избили!

Вхожу в номер Васильева и вижу ужасную картину: он лежит полураздетый на кровати; все лицо, грудь, руки, в кровавых ссадинах и подтеках.

- Что с вами? - бросился я к нему.

- Плохо, брат, Николай! - ответил он, с трудом переводя дыхание. - Изуродовали... Грудь протоптали... Душу выбили... Самосудом.

- Кто и за что?

- За дело, брат.... чужих жен не люби...

Я было заикнулся о докторе, Васильев от его помощи отказался наотрез.

- Никто не спасет, - сказал он. - Мне этой ночи не пережить...

В этом и я не сомневался, так был он не милосердно изувечен; глаза постоянно закатывались под лоб, придавая его лицу мученическое выражение, а из груди вырывались томительные вздохи. После

непродолжительного молчания, он вдруг приподнялся на локте и довольно бодро произнес:

- Умираю, Николай!

Я встал у его изголовья на колени, он прислонился ко мне и испустил последний вздох.

Васильева скромно похоронили; о причинах его внезапной смерти никто не допытывался; власти постарались не поднимать неприятной истории и, таким образом, этот возмутительный самосуд остался безнаказанным и все дело кануло в Лету.

Вскоре после этого события, умер А.С. Карцев, и я остался было не у дел, так как костромской театр в то время пустовал. Тут я задумал уехать куда-нибудь и поступить в труппу, что и случилось осенью 1829 года. С тех пор началась моя скитальческая, актерская и антрепренерская жизнь, продолжавшаяся до первой половины 1880 годов.

Ярославский антрепренер Лисицын прислал за мной своего режиссера с предложением вступить в состав его труппы на очень выгодных условиях, т.е. на 15-ти рублевое ассигнациями жалованье в месяц, которое своим размером польстило моему самолюбию и представляло в перспективе достаточную жизнь.

Начал я у Лисицына прямо с первых комических ролей и этого амплуа придерживался все время моего служения сцене. Впрочем, в мой репертуар также входили оперные и оперетные партии, часто не согласные с моим амплуа, но за то подходившие под мой тенор. В то время мы не смели быть разборчивыми в ролях, а играли без всяких отговорок и рассуждений то, что приказывали и, замечательно, что никакая перетасовка ролей иллюзии не нарушала и талантов не уродовала. Каждый актер был актером в широком значении этого слова и такое верное отношение к искусству имело благотворное влияние на развитие провинциального театра.

Между прочими, у Лисицына служили: знаменитый актер, из дворовых Обрезкова, Варнавий Иванович Караулов, каким-то образом освободившийся от крепостной зависимости и посвятивший себя всецело театру; комик-буфф Орлианский, принадлежавший к дворне князя Урусова, и сын петербургского купца Михаил Яковлевич Алексеев, необыкновенный комик в жизни и злодей на сцене, для каждой пьесы, в которой он исполнял какую бы то ни было роль. Кстати, нужно заметить, что в то крепостное время, господа-помещики, отпускавшие своих дворовых актерствовать у частного антрепренера, получали сами за них жалованье, и ни один из этих подневольных не смел посягать ни на копейку, им же заработанную. Некоторые помещики, в чаянии таких удобных доходов, самолично занимались выработкой драматических талантов у своих крепостных, причем особенное старание прикладывали к тем, которые давали надежду сделаться трагиками, потому что этого рода актеры ценились расчетливыми антрепренерами дороже. Из дворни князя Урусова, кроме Орлианского, были еще другие, второстепенные силы и в общем он за них получал достаточную цифру, которой завидовали весьма многие соседи-помещики.

После Лисицына, Ярославский театр попал в руки Струкова и Соколова, у которых я продолжал службу в следующий сезон. После этого, я снял в компании с несколькими товарищами костромской театр и сделался полноправным распорядителем. Вслед за этим, я взял Ярославский театр и держал его вместе с Рыбинским. В отдельную антрепризу эти театры не отдавались, - нужно было непременно брать оба и играть зимой - в Ярославле, летом - в Рыбинске. Это было вызвано тем, что на летний театр находилось гораздо больше охотников, нежели на зимний, так как Рыбинск в летнее время представляет из себя громадный торговый пункт и в нем гостит много приезжего народа, не скупающегося на удовольствия, а Ярославль ординарный городишко, с известным числом оседлых жителей, уделяющих на театр скудные остатки экономии. Оба эти театра принадлежали тогда губернскому архитектору Панькову, от которого, после моей антрепризы, вышеупомянутый Алексеев приобрел их в собственность. О дальнейшей

судьбе Ярославской сцены расскажу в следующей главе, а эту закончу эпизодом с моей фамилией.

При антрепризе Лисицына играл я под фамилией Иванова, которую выбрал еще в Костроме, когда упражнялся на сцене Карцева. Моя настоящая фамилия казалась не звучной и неудобопроизносимой для театральных афиш, и я переименовал ее на этот слишком заурядный псевдоним, выкроенный из моего отчества. Приобретая в Костроме кое-какую популярность под этой фамилией, я так и остался навсегда Ивановым, и не только на сцене, но даже и в жизни. Случилось это таким обыкновенным образом: когда мне понадобился паспорт и я обратился за ним в присутственное место, то там, знавшие меня лично чиновники, не расспросив толком кто и что я, любезно угодили мне надписью "купец Николай Иванов Иванов". Впоследствии, когда у меня было несколько взрослых сыновей и когда по отжившему закону купеческие дети солдатчине не подлежали, я даже вносил гильдейский капитал, дававший мне права уже действительного купца.

### III

***М.Я. Алексеев. - Его антреприза. - Горькая шутка. - В.А. Кокорев. - Поездка в Вологду. - Опять Ярославль. - Случайная антреприза. - В.А. Смирнов. - Его братья. - Анекдот с губернатором.***

Михаил Яковлевич Алексеев был большим любителем сцены, из-за которой претерпевал довольно продолжительное время бедствия и крайнюю нужду, но актером был положительно невозможным. Он еще в юности, но будучи уже женатым, убежал от своего отца, покинув жену с ребенком, и пристроился к Ярославскому театру, в котором переходил с рук на руки, от одного антрепренера к другому. Жалованье, разумеется, он получал мизерное, на которое едва можно было существовать. Отец же его имел громадное состояние, доходившее чуть не до миллиона; но недовольный поведением сына, старик не помогал ему ни копейкой, хотя приютил у себя

его соломенную вдову с малолетней дочерью. Конец долготерпению Михаила Яковлевича наступил в начале тридцатых годов, когда его отец "волею Божею отыде к праотцам". На долю единственного сына досталось почти все богатство, скопленное копейками в продолжение десятков лет.

Перед отъездом в Петербург за наследством, Алексеев устроил на занятые деньги большой вечер, на котором, кроме всей труппы, присутствовали многие городские обыватели, между прочим и владелец театров, архитектор Паньков, с которым тут же на словах он и условился относительно купли обоих театральных зданий. Всю труппу он уговорил в полном ее составе остаться служить у него, причем пообещал увеличить каждому оклад жалованья, - все, разумеется, охотно согласились. Меня он выбрал режиссером и, без сравнения со всеми остальными, назначил большое содержание.

В Ярославском театре я еще продолжал хозяйничать, а Рыбинский уже принадлежал Алексееву, так что по окончании зимнего сезона, мы переехали в Рыбинск, согласно циркулярному посланию нового антрепренера, адресованному на мое имя из Петербурга, а деревянный Ярославский театр тотчас же был предан разрушению. Вместо него строился каменный, существующий до сих пор. Осенью в Рыбинск приезжал Алексеев: получил отчеты, расплатился со всеми, велел нам отправляться на место служения, а сам снова уехал в столицу за окончательным разделом наследства. В этот приезд он был очень важен, надменен и напускно серьезен; перемена материального положения значительно изменила его в самый короткий срок.

Мы отправились в Ярославль и разместились по гостиницам в ожидании Алексеева, который по каким-то важным обстоятельствам задержался в Петербурге более предположенного времени, хотя сезон давно уже следовало бы начинать. Наконец, в одно прекрасное утро, когда мы, актеры, по обыкновению, собрались в трактир "Лондон" своей компанией чайку попить, появляется Алексеев вместе с каким-то господином и, удостоив нас по пути легким поклоном, проходит в соседний кабинет. Наш антрепренер имел вид сумрачный и недовольный; его слишком неучливое приветствие, брошенное



нам мимоходом, обидело нас. С понятным недоумением мы замолкли и стали прислушиваться к разговору Алексеева, долетавшему до нас из соседнего кабинета довольно явственно, - Михаил Яковлевич видимо не стеснялся нашего близкого присутствия и даже с умыслом говорил такое, что мы должны были намотать на ус. Алексей сообщил своему знакомому, что он везет из Петербурга замечательную труппу и что мы для него не годны, не под стать его столичным знаменитостям. Такие рассуждения антрепренера, разумеется, нас ошеломили. Куда отправишься посреди сезона? Везде полно, никто в актерах не нуждается. В особенности нас угнетало то, что мы кругом были должны: и в гостинице, и в лавках, и в трактире. Обиженные и оскорбленные, разбрелись мы по домам обдумывать в отдельности свое безвыходное положение.

Несколько дней спустя, я случайно встретился на улице с В.А. Кокоревым, в то время только что начинавшим свою деятельность по откупу и временно проживавшим в Ярославле. Он расспросил меня о проделке Алексеева с нами, которая в разных вариациях стала уже известна всему городу, и осведомился, что намерены мы, оставшиеся не удел, предпринять теперь для обеспечения своего существования? Я ему откровенно признался, что мы совершенно теряемся в распланировке своих будущих действий.

- Поезжайте, - сказал он, - в Вологду. Там театра нет и не было. Вам, вероятно, будут там очень рады.

- Где же мы будем играть, если там нет театра?

- В моем доме.

- А сцена, декорации, - начал было я пересчитывать все затруднения, которые сопряжены с денежными тратами, для нас невыносимыми, но Кокорев меня перебил, добродушно улыбаясь:

- А уж это не ваше дело... Вы только скажите, согласны ли ехать в эту глушь.

Разумеется, я согласился от лица всех моих товарищей.

Кокорев немедленно сделал распоряжение о переделке своего громаднейшего вологодского дома в театр, и торопил нас отъездом, чтобы работа шла под нашим наблюдением. Он открыл нам в Вологде кредит в различных лавках, подарил массу полотна под декорации; словом сделал все для нашего блага и ничуть этим не кичился.

Когда до слуха Алексеева дошла весть о нашем отъезде в Вологду, он прибежал ко мне, как к главному распорядителю товарищества, и сердито заговорил, пересыпая каждую фразу своей излюбленной поговоркой "как того, как его"...

- Не смеееете уезжать...

- Это почему же? - спокойно спросил я.

- Потому, что... как того, как его... у меня служить обязались...

- Да ведь мы не нужны вам, вы выписываете петербургскую труппу.

- Как того, как его... Я пошутил с вами...

- Так не шутят, Михаил Яковлевич.

Оказалось, что Алексеев хотел только пострадать нас петербургской труппой, которую вовсе и не приглашал и которой вовсе и не существовало в столице, так как в Петербурге в то время не существовало никаких частных сцен, от которых можно бы было позаимствовать актеров. Своею горькою шуткой он полагал возбудить в нас большее почитание к его персоне и, главное, рассчитывал на нашу добровольную скидку той прибавки к жалованью, которую полгода тому назад нам пообещал. Разумеется, совершить мировую было уже поздно, так как Кокорев в своем вологодском доме приступил к работе, и с Алексеевым, по его собственной вине, мы разошлись окончательно. Он оказался в критическом положении: театр готов, а труппы нет. И пришлось ему набирать кое-каких захудалых актеров,

свободных от ангажемента по причине своей негодности. Само собой понятно, что дела его пошли плохо и расчетливый антрепренер понес крупные убытки.

В Вологде нас встретил радушный прием. Жители с нетерпением ожидали открытия театра, который вышел очень вместительным и крайне симпатичным.

Оркестр мы привезли из Ярославля с собой. Он состоял из дворовых людей помещика Брянчанинова, который отпустил его с нами безвозмездно по просьбе того же Кокорева, принимавшего в нас такое деятельное участие.

На первом спектакле присутствовала вся вологодская знать, во главе с губернатором. Успех наш с каждым днем рос более и более; сборы были прекрасные. На долю каждого из нас выпадала солидная сумма, так как арендной платы за помещение мы не платили, оркестру тоже, даже плотники были от Кокорева даровые. Разумеется, при таких условиях нам жилось хорошо и мы никогда не ушли бы из этого хлебного уголка, если бы наша труппа не распалась, благодаря вмешательству флигель-адъютанта Барановского, пожелавшего облагодетельствовать некоторых из членов нашего общества, определением их на казенную петербургскую сцену. Этот Барановский, впоследствии Ярославский губернатор, был командирован в Вологду для рекрутского набора. В Вологде он жил довольно продолжительное время и, как большой любитель театра, посещал все наши спектакли. Некоторые из исполнителей ему нравились, и он пообещал пристроить их на столичную сцену. И действительно, по отъезде в Петербург Барановского, в начале великого поста, дирекция Императорских театров выписала от меня Дмитриева, Башкирова, Константина Громова<sup>[1]</sup> и других, фамилии которых за давностью я забыл совершенно. Потеряв даровитых товарищей, мы были принуждены и сами разойтись в разные стороны, хотя в нашей оставшейся группе и были такие безусловно талантливые личности, как Яков Андреевич Романовский, отец известной в настоящее время провинциальной драматической артистки А.Я. Романовской, и Александр

Иванович Красовский, автор популярной комедии "Жених из ножевой линии".

Впоследствии, театр Кокорева обращен был снова в жилое здание, а в городе построен настоящий, в котором мне привелось в разное время антрепренерствовать два раза.

После Вологды я держал театры: казанский, вятский, костромской и снова Ярославский. Последние два даже одновременно. Антреприза Ярославского театра далась мне в руки совершенно случайно, я не искал ее, она сама навязалась. Эпизод этот интересен по характерной обрисовке того времени, дающий понятия о простоте нравов отживших людей.

Дело было так:

На первой неделе великого поста, проездом из Костромы в Москву, остановился я на один день в Ярославле, в гостинице "Лондон". Выхожу в общий зал и вижу сидящих за одним столом трех старых знакомых: актера Ивана Ивановича Лаврова, Ярославского помещика Ваксмана и бывшего антрепренера Бориса Соловьева. По происходившему между ними спору, я заключил, что это претенденты на аренду местного театра.

- Все 600 душ заложу, а не уступлю театра! - кричит Ваксман.

- Моя мошна потолще всякой! - заявляет Лавров, доставая из-под полы холщевый мешок с металлическими деньгами и побрякивая ими.

- А я тоже очень богат! - вставляет Соловьев.

Заметив мое появление, они чуть не в один голос произнесли:

- А! И ты пожаловал сюда! Напрасно только, - не дадим тебе театра... Рылом не вышел! На сегодняшние торги и не подступайся!

- Зачем он мне?! - постарался я их успокоить. - У меня есть свой, костромской...

- Ладно, рассказывай... Нашел тоже дураков! Так тебе и поверили! Лучше отъезжай по добру, по здорову.

Задорный их тон меня и удивил, и рассердил. Я отошел от них, а они быстро собрались и вышли из гостиницы. Я пошел за ними без предвзятого намерения вступить с ними в борьбу, а просто посмотрел, что это будет за шумный торг. Являемся в сиротский суд. Городской голова Соболев, поджидавший их, сейчас же приступает к делу.

- Театр этот ходил в прошлом году за 1,500 рублей, - сказал он. - Кто теперь предложит больше?

Претенденты молчат. Соболев предлагает снова тот же вопрос, опять молчание. Разочарованный в своем предположении услышать необыкновенно горячий торг и даже рассерженный этим обстоятельством, я накинул пятьдесят рублей. Признаюсь, у меня было злостное намерение подлить масла в огонь, но, увы! мое поползновение оказалось тщетным.

Видимо, сам Соболев дивился такой решительной уступке со стороны Ваксмана, Лаврова и Соловьева.

- Иванов дает 1550, произнес он, - а вы, господа?

- Ведь переторжка будет? - спросил кто-то из них.

- Да, после завтра.

- Ну, мы тогда потолкуем! - многозначительно проговорил Ваксман и вместе с своими приятелями покинул залу присутствия. Вся эта процедура меня задела за живое, и я задумал во что бы то ни стало завладеть театром. Своими манерами, тоном, они возбудили во мне непреодолимое желание восторжествовать над ними. Для этого пришлось действовать окольными путями. Отправляюсь к секретарю сиротского суда и без церемонии завожу с ним откровенный разговор:

- Можно ли, спрашиваю, сделаться арендатором театра без переторжки?

- Нельзя, - отвечает.

- Ну, а если, говорю, - я предложу вам за совет сто рублей.

- Подумаю!

- А много ли времени нужно вам на размышление?

- Немного: деньги в стол, совет на стол.

- А верно ли будет?

- Ручаюсь!

Я, разумеется, вручил ему обещанное и спросил:

- Каким же образом мы это сделаем?

- Приходите сегодня ко мне, на квартиру, в восемь часов вечера - все дело покончим.

Являюсь к нему в назначенное время и застаю у него собственницу театра, вдову М. Я. Алексеева, опекуншу своей дочери. Секретарь указал нам на один пункт контракта покойного Алексеева с городом, в котором говорилось, что владелец театра может по желанию отдать в аренду свое здание или оставить его за собой, т.е. быть лично антрепренером, при чем если он оставляет за собой, то об этом просто делается заявление в сиротский суд, а если отдает в аренду, то таковая должна состояться непременно при посредстве городского управления с публичных торгов. Этот пункт секретарь ловко развил в намек такого хитрого рода: Алексеева может оставить театр на свое имя, быть его фиктивной антрепренершей, а на самом деле отдать его по домашнему договору мне, мнимому сотоварищу. Наведенные на мысль, мы повели в этом тоне разговор. Алексеева оказалась сговорчивой и охотно согласилась на 1500 рублевую арендную плату и половину чистой прибыли. Призвали тотчас же маклера (в то время так называли нотариусов) и заключили условие, в котором, между прочим, было выговорено, что она,

Алексеева, не будет вмешиваться ни в режиссерские, ни в хозяйственные дела, а кассир при театре будет от нее.

Долгое время она искала верного человека, которому было бы можно довериться и, наконец, обрела такового в лице виолончелиста театрального оркестра, Василия Андреевича Смирнова, служившего еще у ее покойного мужа и, по-видимому, очень благонадежного.

Из музыканта он превратился в кассира и должность свою нес с похвальным рвением и удивительным усердием, хотя в его новой деятельности встречалась масса недоразумений и курьезов, благодаря его излишней суетливости и услужливости всем и каждому.

У Смирнова было два брата, которые тоже служили при театре, один в качестве ламповщика, другой - билетера. Все они были полузаиками и у каждого из них было по роковому словцу, которое вклеивалось в каждую фразу и лишало их речь понимания и смысла. У Василия Андреевича было поговоркою: "да, потому что, да", у среднего брата-билетера: "значит, значит", а у младшего: "того, этого, того". И когда, бывало, они соберутся вместе и заведут о чем-нибудь разговор, то для всякого постороннего было большим наслаждением послушать их милую беседу, впрочем, всегда оканчивающуюся, благодаря полному непониманию друг друга, жестокими ссорами.

Однажды, в бытность Смирнова кассиром, приключилось такое неприятное недоразумение с губернаторской ложей.

Шла какая-то новая пьеса с заманчивым названием. Билеты в театр брались нарасхват. В день спектакля, когда в кассе не было ни одной ложи, является некий богатый помещик, бывший в контрах с губернатором, и просит ложу. Смирнов отвечает, что все распроданы.

- Не может быть! - сомневается помещик. - Посмотрите хорошенько.

- Да, потому что, да... - затараторил Смирнов, подавая ему билетную книжку. - Если не верите, сами взгляните...

- А вот ложа! - воскликнул помещик, указывая на литерную губернаторскую.

- Да, потому что, да... эта не продажная, - это его превосходительства...

- Что за вздор! Получите за нее и кончено! Сегодня губернатор в театре не будет, потому что к нему гости из Петербурга приехали...

Услужливый Смирнов осведомился об этом у полицейского, случайно находившегося тут же. Тот ответил утвердительно, что действительно у губернатора гости. Сделав из этого вывод, что его превосходительству некогда посетить театра, Василий Андреевич с спокойной совестью вручил помещику; билет на ложу и получил с него деньги.

Вдруг, к его ужасу, перед самым спектаклем, приезжает человек от начальника края и заявляет, чтобы в ложу было приставлено два лишних стула.

- Поздно-с, объявляет ему Смирнов. - Ложа его превосходительства продана...

- Как так?

- Думали, что они не будут... Да, потому что, да...

Посланный удаляется и через четверть часа перед кассой появляется внушительная фигура чиновника по особым поручениям.

- Как смели продать губернаторскую ложу?

- Да, потому что, да...

- Это еще что за новость!



- Да, потому что, да...

- Кому продана?

- Да, потому что, да... - забормотал совсем растерявшийся Смирнов.

На этот громкий разговор прибежали оба брата Смирнова. Чиновник к ним:

- Что это у вас тут за сумасшедший посажен? Заладил "дакать" и ничего от него не добиться...

- Значит, значит... это брат... значит, значит...

- Что такое? Все вы языка лишены, что ли?

Младший брат хотел поправить старших и часто заговорил:

- Того, этого, того... они заи-и-икаются... того, этого, того...

- Да это сумасшедший дом, а не театр! - с ужасом воскликнул чиновник, быстро удаляясь от кассы.

Так губернатору и не пришлось в этот день побывать в театре, а помещик с торжествующим видом восседал в его ложе. Этот случай еще более обострил их отношения, и без того незавидные, а мне пришлось выслушать гневный выговор от его превосходительства.

#### IV

***Нарушение контракта. - Прodelка Смирнова с вдовой Алексеева. - Его женитьба. - Смирнов в роли владельца театра.***

Торги на Ярославский и Рыбинский театры, к удивлению Ваксмана, Лаврова и Соловьева, не состоялись. Они так обозлились, что стали вооружать публику против меня, думая этим подорвать мои дела, но дела,

против чаяния, пошли так хорошо, что я и Алексеева положили в карман чистой прибыли за один зимний сезон по тысяче рублей слишком. Моим конкурентам это не давало покоя и они придумали натравить на меня Соболева, поднявшего, по их наущению, дело о нарушении условия, заключенного мною с Алексеевой, как неправильного, ибо по достоверным источникам выяснялось, что я являюсь самостоятельным антрепренером, а не пайщиком, а она - наоборот. Дело это долго тянулось, переходя из инстанции в инстанцию, и кончилось, как и следовало ожидать, не в мою пользу: решено было немедленно нарушить со мной контракт, но только решение это последовало слишком поздно: в начале марта мне объявили его, а в конце февраля кончился мой контракт...

После меня Ярославский театр имел несколько антрепренеров, но кассиром в нем все время пребывал Смирнов, впоследствии сделавшийся его владельцем и вот каким образом.

Через кого-то проведал он, что в руках одной небогатой помещицы Прасковьи Михайловны (фамилию ее теперь я не помню) находится вексель покойного Алексеева в 10,000 рублей, который был им выдан незадолго до смерти, - так сказать, в благодарность за долговременную ее благосклонность к нему. Эта взаимная благосклонность ни для кого не была секретом, точно так же как и то, что отношения супругов Алексеевых ограничились только совместным житьем в одном доме. Векселю своему Прасковья Михайловна не давала никакого хода - отчасти потому, что свежа еще была память об Алексееве, а главное - из скромности, из нежелания сделаться даже на самый короткий срок злобою дня в городе. Всем этим тонко воспользовался Смирнов. В один прекрасный день он явился к векселеобладательнице и объявил ей безапелляционно, что по имеющемуся у нее векселю Алексеева она ничего не получит.

- Как? Почему? - удивилась помещица.

- Да, потому что, да... нет ничего у Алексеевой!

- Как ничего? А театр?

- Да, потому что, да... театр-то?.. А ваш векселек-то в. какую сумму?

- Десять тысяч рублей.

- Хе-хе-хе! - притворно рассмеялся Смирнов. - Да, потому что, да... А театр-то всего тысячи четыре стоит, - и то бы, разумеется, ладно, да лиха беда в том, что покрупнее вашего векселя после Алексеева остались, так что на вашу долю и грошей не наберешь...

Пошли обычные расспросы, разъяснения, окончившиеся тем, что Смирнов предложил взять ей за свой вексель от него тысячу рублей и этим окончательно удовлетвориться. Эту сделку предусмотрительный заика мотивировал тем, что, намереваясь жениться на дочери покойного Алексева, он хочет предварительно, разумеется не без согласия невесты и ее родительницы, покончить со всеми кредиторами миролюбивым образом, чтобы хоть несколько застраховать будущее своих в скором времени близких родственников. Причем присовокупил, что и другие кредиторы Михаила Яковлевича согласились на подобную сделку и этим оказали неизмеримое благодеяние. Прасковья Михайловна поддалась на эти увещания и отдала Смирнову десятитысячный вексель за тысячу. Но Смирнов, перед выплатой денег, "для большей верности" попросил на обороте бланка сделать полную передаточную надпись на его имя.

Заручась этим документом, является он к Алексеевой и начинает очень смелый разговор относительно своего сватовства на ее дочери, едва достигшей семнадцати лет и взаимно влюбленной в молодого капельмейстера. Разумеется, та отвечала решительным отказом, на который Смирнов спокойно заявил, что в его руках находится десятитысячный вексель ее мужа, по которому она ведь не в состоянии уплатить, а это влечет к ее полному разорению, так как для удовлетворения его придется с аукциона продавать театр, единственную и верную ее поддержку. К этому Смирнов смиренно добавил, что в его сватовстве странно видеть корыстную цель,

наоборот - им руководит священное чувство выручить из беды уважаемое семейство.

И что же? Под угрозой разорительного процесса, молоденькая и хорошенькая Фекла Михайловна Алексеева, против всякого желания, принуждена была сочетаться браком с несимпатичным, грубым и мелочным Смирновым, к которому в виде приданого перешли Ярославский и Рыбинский театры. С этого времени он выступил на антрепренерское и режиссерское поприще. Как антрепренер он был купец-маклак, как режиссер убийца всякого дарования, в силу своего безусловного непонимания дела. Театры держал он много лет и составил кругленький капиталец, на который впоследствии существовал безбедно; впрочем, ему было бы достаточно и одной арендной платы за театр, со временем значительно увеличившейся.

## V

*Знакомство с московскими актерами. - Намерение поступить на императорскую московскую сцену. - Н.А. Коровкин. - Его протекция. - В театральной дирекции. - Верстовский, Щепкин, Ленский и Сдобнов. - Анекдоты про Ленского.*

Часто бывая в Москве, я перезнакомился со всеми выдающимися силами Малого театра, в числе которых были такие колоссы, как П.С. Мочалов, М.С. Щепкин, П.М. Садовский, В.И. Живокини и др. В то время не было запрета казенным актерам выступать на провинциальных подмостках не только летом, в каникулярное время, но даже и в разгар сезона, разумеется, если только они не были заняты. Поэтому большинство столичных представителей сцены были не прочь от знакомства с провинциальными антрепренерами, которые держали театры в соседних с Москвою городах. Они пользовались свободными вечерами - зимой, а летом - целыми месяцами, и выступали на частной сцене с большим удовольствием. Ими руководило двойное чувство: и себя показать и заработать некоторую толику денег, в которых почти все они

нуждались, так как оклады того времени были незначительные и строго рассчитанные. Когда я держал театры в Ярославле, Твери, Рыбинске, Вышнем Водочке, Смоленске, Орле, Туле, они у меня гастролировали все время, так что редкая неделя зимой проходила без участия какого-нибудь московского премьера. Нужно оговориться, что на летние сезоны ехали ко мне "обыгрываться" преимущественно молодые актеры, актеры же с именем приезжали только на спектакли. Впрочем, Живокини пробыл одно лето у меня в Твери в качестве режиссера и исполнителя, а сам я в то время хозяйничал в Костроме; так же служил сезон и Корнелий Полтавцев. Нельзя не упомянуть о характерном факте относительно влияния на сборы, как гастролера, Прова Михайловича Садовского. Все, даже второстепенные артисты, так называемые "заезжие знаменитости" имели благотворное значение на разбор билетов и представляли своим именем известный интерес; такой же замечательный художник, как Садовский, сборов не делал. Это достопримечательное явление, которое я до сих пор не могу себе объяснить. Больше всего мог действовать на публику, бесспорно, Павел Степанович Мочалов, милый и задушевный человек, привязчивый и добрый товарищ. Он пользовался обширной популярностью и оценка его таланта характеризуется двумя словами, произносимыми провинциальными его поклонниками, "неподражаемый трагик". Когда он выступал, публика буквально ломилась в театр и сборы были феноменальные, но его гастроли были слишком редки, он не особенно любил выезжать из Москвы и все свободное время охотнее посвящал губительной чарке. Щепкин тоже бывал редким гостем, говорят, по своей природной лени; публика также чрезвычайно любила его, и он был магнитом для сборов.

Служить в таком талантливом обществе, как вышеупомянутые артисты, было моею заветною мечтою, не приводимою в исполнение лишь потому, что я не надеялся на свои актерские силы и стеснялся хлопотать о себе. В старое время актеры были скромнее и даже самолюбивее: они не сами навязывались на большую сцену, а терпеливо ожидали когда их пригласят на нее. И то время было самым цветущим в истории российского театра...

Моя мечта стала вдруг близкою к осуществлению, когда в конце тридцатых годов в Ярославле я познакомился с Николаем Арсентьевичем Коровкиным, автором многих известных водевилей. Он меня видел в какой-то комической роли и я ему понравился настолько, что он сам предложил мне свое ходатайство относительно поступления на столичную сцену. Ему это было легко сделать, так как он занимал должность секретаря при директоре императорских театров А. М. Гедеонове.

- Вы не лишним будете и у нас! - сказал он. - Я похлопочу, если хотите... Вот приезжайте великим постом в Москву, - я вас своему генералу и представлю. Он каждую весну бывает в Белокаменной.

Великий пост по обыкновению я проводил в Москве и высматривал для своего театра актеров, но на этот раз мое пребывание в столице имело совершенно другое значение, - я выжидал приезда Гедеонова, а вместе с ним и Коровкина, обнадежившего меня в смысле устройства на казенную сцену положительным образом. Когда они приехали, с душевной тревогой отправился я к Николаю Арсентьевичу напомнить об его обещании. Он принял меня очень любезно и сказал, что говорил уже генералу обо мне и тот согласился подписать со мной контракт. Он велел явиться мне на другой день в театральную контору в приемные часы и разыскать его, а уж он сам представит меня директору. Я так и сделал. Коровкин, представляя меня Гедеонову, отозвался обо мне, как об актере, слишком восторженно и лестно.

- Жаль, что пост теперь, - сказал Александр Михайлович, - а то бы я сам присутствовал на ваших дебютах, но, впрочем, я верю Николаю Арсентьевичу и принимаю вас на высший оклад, т.е. 600 р. в год.

Мне, разумеется, не оставалось ничего больше делать, как с благодарностью согласиться.

При выходе из кабинета Гедеонова в приемную, ко мне подошел управляющий московскими театрами Алексей Николаевич Верстовский, с которым я был знаком только шапочно, и спросил:

- Нанимались?

Я встал в тупик от такого резкого вопроса и, несколько задетый за самолюбие, ответил:

- Нет, - меня пригласили.

- Пригласили? - удивленно посмотрел на меня сквозь очки Верстовский и медленно забарабанил двумя пальцами правой руки по большой табакерке, которую держал в левой. - Пригласили? - повторил он. - Не слышал что-то... И что ж вы покончили?

- Покончил.

- Приняты?

- Принят.

- Хорошо, мы это увидим!

Такой недружелюбный тон будущего моего начальника меня озадачил. Не успел я сделать от него двух шагов, как ко мне подошел Щепкин и тихо спросил:

- Что вам сказал Верстовский?

Я передал ему наш разговор.

- Не хорошо! - произнес Михаил Семенович, сделав одну из типичных своих гримас. - Не с того конца зашли... Гедеонов-то уедет, а этот здесь останется...

После Щепкина меня стал исповедовать Дмитрий Тимофеевич Ленский, известный остряк и водевилист:

- Зачем к тебе подходил Щепкин?

- Спрашивал о разговоре моем с Верстовским.

- С ним лишнего не болтай, - шепнул мне Ленский и спросил:
- А какой разговор был у тебя с Верстовским?
- Недружелюбно встретил мой прием в состав московской труппы.
- А ты к нему раньше не заходил?
- Нет...
- Ну, не бывать добру... Погиб! Затрет он тебя...

К нам подошел актер Сергей Сдобнов и, узнав обо всем происшедшем, сказал мне:

- Плюнь ты на все это! Пойдем со мной, я тебя рекомендую саратовскому антрепренеру Богданову. У него служба хорошая, это меценат, помещик, - жалованье даст 1,500 рублей и обеспеченный бенефис тысячу.

Обескураженный затруднениями и неприятностями, встретившимися на первых шагах серьезного начинания, я поступил по совету Сдобнова: подписал контракт с Богдановым и уехал в Саратов, не дожидаясь никаких результатов от дирекции театров.

Так и остался я только при желании на счет службы на казенной сцене, манящей к себе двояко: почетным положением и обеспеченным существованием. Особенно последнее имеет громадное значение в жизни каждого театрального деятеля, волею судеб мыкающегося по провинциям. Никакой крупный талант ни на минуту не гарантирован от нищеты, вся его отрывистая жизнь строится на случайных сцеплениях обстоятельств, ухудшающихся год от году более и более в силу утрачивающейся молодости, в театральном мире ценимой высоко, - а в перспективе почти всегда - голодная, бесприютная старость. Доля провинциального актера тяжелая, бесформенная и забитая. Вот почему все мечты и желания у него сводятся к одному - как бы пристроиться на казенную сцену и выслужить какой-нибудь пенсион, чтобы не умереть с голоду под старость. Старания каждого



провинциального актера в этом смысле безусловны, а потому те, которые называют их людьми беспечными, беззаботными, отчаянными, должны отказаться от своего обвинения.

Кстати, упомянув о Ленском, я припомнил несколько его острот и экспромтов, на которые он был неподражаемым мастером. Его находчивость была известна всем и каждому, его остроты облетали Москву и твердо запоминались любителями.

Как-то, во время представления трагедии "Эдип в Афинах" я был на сцене Малого театра и стоял за кулисами вместе с Ленским. К нам подошли два брата Орловы, Илья и Павел, игравшие: первый - Креона, второй - Тезей. Дмитрий Тимофеевич, как бы представляя мне их, произнес, указывая на того и другого:

"Вот вам Креон, вот вам Тезей.

И дуралей, и ротозей".

Действительно, оба они были не хватающими звезд с неба и, кроме того, жестоко преданными живительной влаге.

После первого действия, к Ленскому подошел Илья Орлов и что-то сказал ему жалобным тоном; вслед за ним явился и Павел Орлов, тоже что-то негромко сообщивший Дмитрию Тимофеевичу. По физиономии их можно было заключить, что они не особенно довольны друг другом, что между ними произошло какое-то недоразумение. Когда они удалились, я спросил Ленского:

- На кого они тебе жаловались?

Он ответил экспромтом:

"Илья Орлов винит Орлова Павла в пьянстве.

А тот его винит и в пьянстве я в буянстве".

Ленский не покидал своей страсти к остротам и каламбурам ни в какие минуты жизни. Иногда, в самые грустные моменты, он раздражался каким-нибудь "кислым" (как сам он отзывался о своих остротах) словом, приводившим всех окружающих в неудержимый хохот, вовсе неприличный случаю.

Так, когда горел Большой театр в Москве, Дмитрий Тимофеевич стоял на театральной площади и с слезами на глазах смотрел на печальную картину пожарища.

Я в это время был в Москве и тоже присутствовал на этом памятном зрелище. Совершенно случайно столкнулся я в толпе народа с Ленским.

- Плачь! - сказал он мне. - Смотри чего мы лишаемся...

Между прочим, я припомнил ему, что он сам когда-то говорил, что оба театра, и Большой, и Малый, снабжены многочисленными кранами, вполне охраняющими их от пожара.

- И если действительно имеются такие краны, закончил я, - то отчего около них не дежурили сторожа на всякий случай. Они бы моментально затопили весь театр водой.

- Разве не видишь как его затопили, - сказал с горькой улыбкой Ленский. - Так затопили, что и погасить не могут.

В купеческом клубе Ленский бывал часто. Все члены считали за особое удовольствие его посещения и на перебой старались ему угодить; он это высоко ценил и оказывал купеческому клубу видимое предпочтение перед всеми другими.

Купеческий клуб до сих пор сохранил о нем массу анекдотов, передаваемых из поколения в поколение. Вот два из них:

Как-то к Ленскому, стоявшему около клубского буфета, подходит какой-то господин, должно быть из провинциалов, и обращается с заискивающим вопросом:

- Кажется, имею удовольствие разговаривать с господином артистом Ленским?

- Да я с вами еще не разговариваю.

- Ну, полноте чваниться! О вас я много слышал хорошего...

- А мне о вас ничего хорошего не удавалось слышать!

- Хе-хе-хе! Ну, вот уж и пошел!.. Не хотите ли лучше со мной бутылочку вина распить?

- Зачем только раз пить, мы можем и несколько раз.

Случился, однажды, в клубе скандал: сидевшие в столовой два гостя поссорились и затем один другого ударил бутылкой по голове. Учинивших это безобразие торжественно повели в контору клуба для составления протокола, а вместе с ними пригласили туда же и Дмитрия Тимофеевича, как очевидца происшествия.

- Вы видели, - спрашивает Ленского дежурный старшина, составлявший протокол, - как г. N. ударил по голове г. Z.?

- Не видал, - ответил совершенно серьезно свидетель, - а слышал, что сильно ударили по чему-то пустому.

В заключение еще одна очень удачная шутка Ленского. Встречается он на Тверской с одним своим знакомым и спрашивает:

- Куда и откуда?

- Из дома, - отвечает тот, - к своему кредитору долг несусь.

- Кто же тебе верит? Что это за феномен?

- Алексей Иванович Простой.

- Познакомь-ка меня с таким простым, от которого можно было бы деньгами позаимствоваться. Не одному тебе пользоваться его простотой...

## VI

*П.В. Самойлов. - Его брат В.В. - Причина отставки В.В. - Дебюты его у меня в Казани. - Прием его на петербургскую сцену. - Рассказ отца Самойлова о встрече его с императором Николаем I.*

В бытность мою казанским антрепренером в первой половине тридцатых годов, случилось мне познакомиться с горным инженером Василием Васильевичем Самойловым, впоследствии знаменитым петербургским артистом, через брата его Петра Васильевича, служившего у меня на драматических ролях. Василий Васильевич пребывал в то время в Казани на службе.

Петр Васильевич был даровитым актером и пользовался расположением публики, но неодолимая страсть к спиртным напиткам совершенно забивала его и часто даже лишала человеческого облика. За него нельзя было поручиться ни на одну минуту, - случалось так, что на репетиции он в сносном виде, а к спектаклю вдруг упивался, как выражаются, до положения риз. Через это происходили пертурбации с действующими лицами, - роли наскоро передавались другим, которые при поспешности не только не могли вникнуть в них, но не успевали даже порядком прочесть их, почему пьесы комкались, теряя всякий смысл и терпели фиаско.

Его сценическая игра много теряла от дурного зрения. Он видел на столько плохо, что принужден был измерять места на репетициях шагами и во время хода действия вечно заботиться о том, чтобы не отвлечься от расчета своего

положения на сцене и не перепутаться входами, выходами, или чтобы не наткнуться на кого-нибудь из действующих лиц, а то и просто на мебель. Разумеется, такие мысли, вечно гнездящиеся в голове артиста, не позволяют ему увлечься, войти в роль всем своим дарованием и вдохновенно провести ее, - они его сдерживают, охлаждают. Потерей своего зрения, Петр Васильевич всецело был обязан своей пагубной страсти к вину; в молодости, по его словам, он обладал прекрасным зрением.

Однажды, рано утром, мне докладывают, что пришел Петр Васильевич и требует настоятельно видеть меня по весьма важному делу. Предполагая, что он пожаловал ко мне за авансом, - я сказался еще спящим и велел ему явиться в контору театра во время репетиции. Но он еще раз заявил, что дело неотложное и требующее немедленного разговора со мной. Делать было нечего, пришлось к нему выйти.

- На вас все упование! - встретил он меня, по обыкновению, ажитированно.

- Что такое?

- Вася наскандалил!

- Где и как?

- Вчера был торжественный обед по случаю закладки какого-то казенного здания и на нем присутствовал брат, в числе других почетных представителей города. Тотчас же после последнего блюда, губернатор сказался крайне уставшим и уехал. По этому поводу, неосторожный на язык, Вася заметил довольно громко своим соседям: "мы его скоро из окна увидим, - теперь он пойдет домой, возьмет под мышку подушку и отправится напротив". И при этом указал на дом предводителя дворянства, жена которого действительно слишком благоволила к губернатору. Предводитель это услышал и, в благородном негодовании, сказал брату какую-то дерзость, на которую Вася не утерпел ответить еще более резко. Теперь он принужден подать в отставку, да уж даже и подал.

- Чем же я-то могу для него быть полезным? - в недоумении спросил я Петра Васильевича.

- Примите его к себе актером!

- Да он может быть к сцене не чувствует никакого призвания?

- Как не чувствует? - удивился Самойлов, - Обязательно чувствует. Вся наша семья по актерскому складу создана...

- Ладно, приводите его сегодня на репетицию, - потолкуем... Василий Васильевич явился в назначенное время в сопровождении брата и повторил мне рассказ о своей неприятности с предводителем. Мы с ним сговорились о дебютах, при чем он непременно желал выступить в оперных партиях, так как обладал очень приятным тенором. Чрез несколько дней состоялись его дебюты, сопровождавшиеся успехом, но не выказавшие тогда в нем особого дарования, которое сделалось так знаменито впоследствии. Первый раз он выступил в одноактной оперетте "Дом сумасшедших", второй - в трехактной опере "Женщина-лунатик". Я ему положил, как начинающему, небольшое жалованье, что-то около двадцати рублей в месяц и он был этим, кажется, доволен. Прослужил он у меня, однако, не особенно долго. Вскоре по выходе в отставку, он получил из Петербурга от отца письмо, которым вызывался на службу в столичном театре. Письмо было крайне минорного тона, в нем проглядывал родительский упрек легкомысленному сыну, доставившему неутешное огорчение, но в заключение было радостно сообщено, что прием Василия Васильевича на императорскую сцену состоялся по милостивому вниманию государя Николая Павловича к престарелому актеру Василию Михайловичу Самойлову.

Как я узнал потом, старик Самойлов любил больше всех своих сыновей Василия и именно потому, что он выбрал себе серьезную карьеру, а не прельстился мишурным блеском закулисного прозябания. Вследствие этого, на старика сильно подействовала отставка его и желание сделаться актером,

по примеру всех родных. Разумеется, отец и не подозревал тогда какой славы и почести достигнет его сын на сцене.

Случайности в нашей жизни играют первенствующую роль. Резким примером этого парадокса может послужить неприятность Самойлова с предводителем, вызвавшая его отставку из горной службы и принудившая сделаться актером и стяжать на новом поприще такое блестящее имя. Почем знать, быть может, если бы не это столкновение на обеде, в горном ведомстве было бы больше одним генералом, а русская сцена не имела бы великого артиста Самойлова!

Когда я был в Петербурге, Василий Михайлович Самойлов, с которым я познакомился через Василия Васильевича, рассказывал мне, как он просил императора Николая Павловича о своем "шалуне". При этом чистосердечно признался мне, что ради счастья сына позволил себе сактерничать с государем, чем мог при неудаче вызвать его гнев и лишиться его благоволения к себе.

Вот как это было:

Узнав о неприятности, постигшей Василия Васильевича в Казани, и о том, что он поступил на провинциальную сцену, испортив навсегда свою служебную карьеру, Василий Михайлович решил попросить императора о принятии сына вновь на прежнюю службу. Но для этой просьбы нужен был удобный момент, а его, как нарочно, не случилось, несмотря на долговременное выжидание.

Василий Михайлович придумал попасться на встречу Николаю Павловичу в час его прогулки по дворцовой набережной так, чтобы его величество непременно обратил на него свое внимание.

Вышел Самойлов с трепещущим сердцем на набережную и, завидя вдалеке государя, направлявшегося к нему на встречу, - нахмурился, насупился, низко склонил свою голову, как бы идя в глубокой задумчивости, не обращая ни на

что окружающее внимания, и чуть было не миновал императора, не оказав ему почтения поклоном.

- Самойлов! - остановил его Николай Павлович, - Разве не узнал меня?

- Виноват, ваше величество, - с притворным испугом произнес Василий Михайлович.

- О чем так задумался?

- Посетило меня горе, ваше величество.

- Что такое?

- Сын мой покинул горную службу.

- Почему?

Самойлов рассказал императору причину отставки Василия Васильевича, не утаив истинного происшествия. Государь неодобрительно покачал головой и спросил:

- Где же твой сын теперь?

- Поступил в местную труппу актером, ваше величество.

- Ну, и как? с успехом?

- Не думаю, ваше величество, потому что у него своя дорога есть, на которой он мог бы быть более полезным сыном своей родины.

- Ну, не скажи! - улыбнулся Николай Павлович. - Я вижу, что тебе более хочется быть горным, нежели ему. Ты тщеславный старик... Но, слушай, - милостиво заключил император, - у тебя все дети способны и талантливы, вероятно и этот не отстал от других. Выпиши его сюда, а я похлопочу за него - авось вместе как-нибудь и пристроим на нашу сцену, ведь и ты, конечно, не без связей?



Государь был в хорошем расположении духа и все время снисходительно шутил с Василием Михайловичем, как бы желая рассеять его грусть.

- Но все-таки, ваше величество, осмелюсь заметить, что горная служба не в пример лучше нашей.

- Она от нас никогда не уйдет: если он не оправдает наших надежд и не окажется актером, мы его снова упрячем в форменный мундир.

Обрадованный Самойлов поблагодарил государя и поспешил домой, чтобы написать сыну о немедленном приезде его в Петербург, где он может рассчитывать на службу при императорском театре.

Впоследствии несколько раз приходил мне на память этот разговор Николая Павловича с Самойловым, в котором император оказался совершенно верным угадчиком сценического дарования в Василии Васильевиче.

## VII

*А.Н. Верстовский. - Моя дружба с ним. - 1855 год. - Полицеймейстер Д-льн. - Вышневолодский театр с казенной труппой. - Столкновение с тверским губернатором А.П. Бакуниным. - Моя поездка в Петербург с жалобой на него, - Смещение его с губернаторского поста. - П.В. Васильев. - Его дебюты.*

При всем желании держаться в моих воспоминаниях какой-нибудь системы, я решительно не могу сделать этого, вследствие исчезающей с годами памяти, значительно надорванной моею театральной деятельностью, требовавшей всегда ее усиленной работы. Невольно приходится ограничиться эпизодическими рассказами, имеющими отрывочный характер и, главное, резкие переходы от одного лица к другому, от факта к факту. Впрочем, избежать этого было бы трудно, так как я говорю исключительно о случаях хоть сколько-нибудь примечательных или любопытных, а все малозначительное, как излишний балласт, стараюсь обойти молчанием.

Поэтому заметной последовательности в моих воспоминаниях быть не может.

Перехожу ко времени моей антрепризы в Вышнем Волочке (Тверской губ.), знаменательной по столкновению с губернатором Бакуниным.

Начну по порядку.

С инспектором московских театров<sup>[21]</sup> Алексеем Николаевичем Верстовским я был знаком в продолжение не одного десятка лет. Первое время, наше знакомство было очень натянуто и ограничивалось только поклонами, а впоследствии, при содействии Ивана Васильевича Самарина и Прова Михайловича Садовского, мы с ним сошлись довольно близко и поддерживали наши дружеские отношения до самой смерти его. Первоначально Верстовский производил на меня отталкивающее впечатление, - казался надменным и заносчивым, взыскательным и неуязвимым, но потом, когда мне удалось рассмотреть его основательнее, я сделал уже обратное заключение. На самом деле это был добрейший человек во всех отношениях, без той чрезмерной гордости, которая на первый взгляд всегда выставляла его неприятным, очень обходительный, любезный, и вопреки всяким толкам, отнюдь не интриган. Это мое личное мнение о нем, разумеется, непроверенное мнениями его подчиненных, которые по отношению к нему были почему-то скупы на похвалы, а главное пристрастны. Впрочем, у Алексея Николаевича было не мало и друзей из своей же театральной сферы, любивших его искренно и преданных ему.

Единственная слабость Верстовского, это - протектирование и покровительство, разумеется, бескорыстное и без всяких задних мыслей. Он не терпел, когда кто-либо обходил его просьбами и действовал через ближайшее начальство или обращался непосредственно в петербургскую дирекцию театров. Хотя он вслух и не высказывал своих претензий в подобных случаях, но обиняком давал провинившемуся почувствовать всю непрактичность его поступка. Его осуждали за это. Но заслуживал ли он порицания за то, что всегда старался быть всем и каждому полезным, что

порывался вечно к посильной помощи? Мне кажется, что эта слабость вполне простительная, так как она во всяком случае приносила больше добра, нежели зла. Даже такие не симпатичные разговоры с ним, как мой во время моего поступления на казенную сцену (о чем упомянуто выше), не должен трактоваться слишком строго с выводом о дрянности Алексея Николаевича, - его гнев вызывался исключительно невозможностью принять единоличное участие в каждом дебютанте и, таким образом, быть его непосредственным благодетелем. Весьма понятно, что если бы я был ранее знаком с характером Верстовского и предварительно откланялся бы ему, то мое поступление в труппу императорского театра, без сомнения, состоялось бы.

В 1855 году Алексей Николаевич оказал мне большую услугу, отпустив ко мне на летний сезон многих молодых актеров Малого театра, под предлогом обыгратья.

В этом месте я должен сделать маленькое отступление и упомянуть о некоторых подробностях этого года. Незадолго до своей кончины, император Николай Павлович разрешил добавить спектакли на 2, 3, 5 и 6 неделях великого поста. В этот период времени я держал два зимних театра - Тверской и Костромской, и один летний - Вышневолоцкий. Воспользовавшись таким высочайшим разрешением, я продолжал театральные представления в Твери постом. Полицеймейстером там в то время был Д-льн. На 18-го февраля у меня был назначен спектакль, обещавший порядочный сбор. Объявленное начало его, по обыкновению, было сем часов вечера, хотя раньше восьми редко когда поднималась занавесь. Вдруг, в шесть часов приезжает в театр Д-льн и требует меня. Я моментально был извещен об этом, так как жил неподалеку от театра. Спешу к полицеймейстеру, и вижу, что он задумчиво ходите около кассы.

- Что такое? - спрашиваю его с недоумением.

- Много ли сегодня билетов продали?

- А вам на что это знать?

- Значит, нужно, если спрашиваю.

Ничего не понимая, обращаюсь к кассиру:

- На много ли наторговали?

- На триста рублей слишком, - ответил кассир.

- Цифра изрядная! - сказал Д - льн и торопливо прибавил, - собирайте как можно скорее актеров и начинайте представление.

- Зачем? - дивился я, не постигая истинного значения озабоченности и волнения полицеймейстера. - Кто-нибудь смотреть нас придет?

- Не до расспросов! Делайте, как говорю...

- Во всяком случае ранее семи часов начинать нельзя, - запротестовал было я, - потому что билетов продано много и публика, невольно опоздавшая, будет претендовать...

- Ах! Господи! - раздраженно перебил он меня. - Ну, пусть себе претендует, да только вы-то не медлите...

Делать было нечего, я наскоро собрал труппу и упросил всех как можно скорее подготовиться, чтобы начать спектакль. Д-льн из театра исчез. В шесть с половиной приказываю поднять занавесь и первое действие комедии идет положительно при пустом театре. К концу акта в дешевых местах стали показываться зрители... В начале восьмого часа в партере появляется Д-льн и останавливает ход действия, объявив, что скончался император Николай Павлович.

Разумеется, это известие произвело на всех грустное впечатление и спектакль прервался на пол-фразе.

Д-льн прошел ко мне на сцену и тихо сказал:

- Вот почему я торопил вас начинать!.. Теперь все-таки останется у вас сбор, потому что представление не отменено, а прекращено по требованию властей на половине. Следовательно, теперь никто не имеет права требовать обратно своих денег...

Вот образец беспредельной доброты Д-льна, славившегося ею вполне заслуженно.

Ожидая продолжительного траура, я распустил всю свою труппу до следующей зимы: О летних спектаклях я и не мечтал даже, будучи в полной уверенности, что всякие увеселения прекратятся по крайней мере на полгода. Но кто-то из приехавших в Тверь из Петербурга сообщил мне, что молодой император Александр Николаевич разрешил летние развлечения, которые представлялись почти насущною потребностью, благодаря различным обстоятельствам, неприятно слагавшимся для России. Спеша проверить этот слух, я отправился в Москву к Верстовскому, которому, по моему предположению, должно было быть все известно официальным образом.

Алексей Николаевич, по обыкновению, принял меня радушно и подтвердил, что действительно все летние увеселения разрешены.

- Но за то, - прибавил он, - постом никогда уж больше спектаклей не будет. На них наложено veto...

В последующем разговоре, Верстовский спросил меня:

- Стало быть летом театр держать где-нибудь будете?

- Свой, Вышневолоцкий, - ответил я, - он всегда за мной...

- А труппа в виду имеется? Или зимняя остается?

- Нет, зимняя распущена вся, до одного человека. Придется набирать новую...

Алексей Николаевич на минуту замолчал, точно что-то соображая, и вдруг воскликнул:

- А наши императорские актеры вам нравятся?

Я не сразу нашелся на этот вопрос. Так он был неожидан для меня, что я принужден был переспросить Верстовского:

- То есть как нравятся?

- А так, - ответил он несколько иронизирующим тоном, - пригодны ли они для вашего театра?

- Да для какого же они могут быть не пригодны, - отозвался я о действительно талантливых на подбор артистах Малого театра,

- Ну, а если они вам нравятся, - самодовольно произнес Алексей Николаевич, - то выбирайте любых, кого угодно отпущу к вам. Только чур! старичков не тормошить, - предупредил он, - они у меня не совсем поворотливы, их нужно оставить на печи дремать.

Я выразил сомнение - согласятся ли они? Верстовский уверенно возразил:

- Разумеется, согласятся... Я их на "обыгрш" к вам пошлю...

- Но может быть это дорого будет мне стоить?

- За вознаграждением не погонятся, потому что они и так обеспечены... Дадите им на пряники, да окупите их житье в Волочке, - вот и все...

Воспользовавшись любезным предложением Алексея Николаевича, я тотчас же наметил некоторых из молодого персонала казенного театра, а именно: Павла Васильевича Васильева, впоследствии известного артиста, а в то время только что начинавшего свою театральную карьеру; Якова Михайловича Садовского, брата знаменитого Прова Михайловича; Александра Андреевича Рассказова, неподражаемого простака,

здравствующего до сих пор; Владимира Ленского, сына известного остряка и водевилиста Дмитрия Тимофеевича; Соболеву, впоследствии жену П.В. Васильева, Озерова, Кремнева и мн. других.

Все они охотно согласились на поездку в провинцию и вскоре после этого отправились вместе со мной на место служения. Приехав в Волочек, мы сейчас же принялись за приготовления к открытию театра: спешное разучивание ролей, ежедневные репетиции, ремонт декораций и пр.

Я расписал афишу и отправил ее к местному исправнику для подписи. Он потребовал губернаторского разрешения на постановку спектаклей, без которого подписать афишу решительно отказывался. Не предусмотрев заранее этого обстоятельства, пришлось мне в тот же день поехать в Тверь. Приезжаю, и прямо к губернатору. Ему докладывают: "Иванов, Вышневолоцкий антрепренер, по весьма неотложному делу". Он не удостоил чести принять меня, мотивируя, что для деловых разговоров у него имеются утренние часы. Пришлось переночевать в гостинице.

Утром, в указанное время, отправляюсь в его канцелярию. Жду час, другой, третий. Наконец, появляется его превосходительство Александр Павлович Бакунин и обращается ко мне с официальной фразой, хотя я ему был хорошо известен по тверской антрепризе.

- Что вам угодно?

Я ему объяснил требование исправника его разрешения.

- Я не могу, - ответил он, - дать подобного разрешения.

- Почему же? Ведь вам известен приказ государя относительно летних увеселений нынешнего года?!

- Ничего неизвестно!

- Во многих других городах уже давно начались спектакли.

- Это не мое дело!

Повернулся и скрылся в свой кабинет.

Не теряя ни минуты времени, еду в Москву. Отправляюсь прямо к Верстовскому и прошу его выдать мне засвидетельствованную копию с бумаги министерства двора, подписанной министром графом Адлербергом, в которой говорилось о разрешении императором летних увеселений. Он не замедлил исполнить мою просьбу, удивляясь придирчивости Бакунина, и предупредил, что, если уж губернатор за что-нибудь гневается на меня, то и этой копией не достигну мне желаемых результатов.

Так и случилось.

Заручившись копией, возвращаюсь в Тверь. Бакунин встречает меня так же немилостиво, как и накануне.

- Вот, говорю, ваше превосходительство, засвидетельствованное удостоверение, относительно возможности постановки спектаклей.

- Хорошо, я спрошу министра.

- На этой копии, - возражаю ему, - имеется подпись министра двора графа Адлерберга.

- Я спрошу своего министра.

- Но, ваше превосходительство, все это отнимает время, которое принесет мне вознаграждение, так как вся труппа сидит на месте, и я должен выплачивать ей условленный гонорар.

- Это меня не касается.

- Да, но я вам представляю такой документ, который требует безусловного разрешения вашего.



- Я не обязан руководствоваться предписаниями министров других ведомств, у меня есть свой, внутренних дел.

И опять круто повертывается и исчезает в кабинете.

Не солоно хлебав, возвращаюсь в Волочек ожидать результатов сношений Бакунина с своим министерством. Проходит неделя, другая, месяц - от губернатора ни слуха, ни духа. А уж я несколько раз наведывался в его канцелярию за стереотипным ответом:

- Еще не получено!

Видимое дело, что Бакунин умышленно задерживал открытие моего театра. Что была за причина его неприязни ко мне, я до сих пор не постигаю, но думаю, что на него, крайнего самолюбивца, подействовала глупая неосторожность одного из моих актеров, как-то в последний сезон удачно загримировавшегося его превосходительством. Делать нечего, пришлось расхлебывать эту кашу, заваренную без моего ведома.

Июнь подходил к концу, а из Петербурга ответа все нет как нет. Свои визиты в губернаторскую канцелярию я участил, но толку от этого, разумеется, не было. Очень вероятно, что я прискучил правителю канцелярии, потому что он посоветовал мне отправиться самому в Петербург и подвинуть дело личным участием. Это и самому мне казалось единственным исходом для благополучного разрешения немудреного вопроса.

Приезжаю в Петербург и прежде чем направиться в министерство внутренних дел за необходимою справкою, навестил своего приятеля Ивана Ивановича Сосницкого, ветерана петербургской драматической сцены. Рассказал ему свое положение. Он посоветовал мне лично подать министру жалобу на действия Бакунина и со своей стороны пообещал содействовать у графа Адлерберга, с которым он был знаком.

С помощью того же Сосницкого, составил я прошение и на другой день в приемные часы явился к министру внутренних дел Бибикову, который, пробежав мою просьбу, сердито произнес про себя, но так что я ясно расслышал:

- Опять! Вечно у него кляузы...

И уже обращаясь ко мне, сказал:

- Можете отправляться к себе и открывать театр, я сделаю об этом немедленное распоряжение.

От него я зашел в присутствие и справился, для удовлетворения своего любопытства, адресовал ли Бакунин сюда запрос обо мне и оказалось, что ничего подобного не поступало от него в министерство. Тут уж я окончательно убедился, что Александр Павлович сводит со мной какие-то, неведомые мне счета.

Уезжаю в Вышний-Волочек и ожидаю там последствий моего путешествия в Петербург. Через несколько дней приходит ко мне исправник и объявляет, что меня немедленно требуют в Тверь, в губернское правление.

Отправляюсь. Встречает меня вице-губернатор (фамилию его запомнил) и таинственно приглашает к себе в кабинет.

- Вы подавали прошение министру внутренних дел? - спросил он, любезно предлагая мне место около письменного стола.

- Да, подавал.

- Резолюция господина министра на вашу просьбу такова: разрешить вам в городе Вышнем-Волочке постановку драматических спектаклей и взыскать в вашу пользу с губернатора нашего все убытки, понесенные вами с начала сезона по сие число.

После небольшого молчания, вице-губернатор сказал:

- Относительно последнего, Александр Павлович просил меня передать вам, чтобы вы зашли к нему на квартиру.

- Слушаю.

Я откланялся и хотел было уходить, но он меня остановил вопросом:

- Зачем было ездить с жалобами, неужели нельзя было покончить эти пустяки домашним образом?

- Я был вынужден к этому систематическими притеснениями начальника губернии...

- Ну, ладно, пожаловались вы министру внутренних дел, но зачем было еще министру двора доносить. Знаете ли вы, что из этого произошло?

Я отвечал отрицательно, вице-губернатор продолжал:

- То, что Александр Павлович отставлен от должности губернатора.

Это известие поразило меня до крайности и я пожалел, что сгоряча не остановил Сосницкого от сообщения графу Адлербергу происшедшего между мною и Бакуниным недоразумения. Убытков, разумеется, с него я не искал, хотя все это происшествие обошлось мне не в одну тысячу рублей. Вот какой, по-видимому незначительный случай послужил поводом к смещению с губернаторской должности Бакунина.

Только в июле начал я сезон и, конечно, ни коим образом не возвратил своих потерь за первую половину лета, хотя дела шли порядочно и труппа моя чрезвычайно нравилась жителям. Особенным успехом пользовались рассказы и Васильев, оба в то время молодые и оба талантливые. Впрочем, последний тогда не был еще окончательно сформирован, и я помню, как он сробел при первом появлении перед новою публикою. У него была поговорка: "сударь ты мой", которую он обыкновенно клеивал при всяком удобном и неудобном случае. Выступил он в старинном водевиле "Кетли или

возвращение в Швейцарию". Ему следовало пропеть куплет, начинавшийся так:

"О, мирная страна  
Всегда пленяла ты поэта,  
Ты красоты полна,  
Ты нам убежище от света".

Павел Васильевич сбился с такта и исковеркал этот мотив во что-то невообразимое, пропев его:

"О, мирная, сударь ты мой  
Всегда, сударь ты мой, поэта  
Пленяла красотой,  
Сударь ты мой, сударь ты мой..."

Публика неистовствовала от смеха, а сконфуженный артист предпочел весь остальной свой музыкальный номер промолчать.

- Что с тобой, Павел, сделалось? - спрашивал я его потом.

- Оробел... язык проглотил, сударь ты мой...

## VIII

**- Актерские оговорки: Г.А. Выходцев. - Рыбаков. - Актерские шалости на сцене: - Смирнов. - Милославский. - К-ский. - Ш-в.**

Про оговорки на сцене существует масса анекдотов самого потешного свойства. В особенности отличаются оговорками провинциальные лицедеи, у которых редкий спектакль проходит без того, чтобы кто-нибудь из них "не проврался".

Бесспорно, это одно из величайших зол в смысле сценического успеха. Прежде всего терпят от этого авторы, потом публика и потом уже неминуемо актеры. Благодаря неуместно сказанной фразе, не во время произнесенному слову, получается очень часто искажение всей пьесы. Также теряет много пьеса и от того, что зрители хохочут там, где бы им следовало быть расположенными к слезам. В этом случае у публики иллюзия исчезает, эстетического удовольствия, за которым она собственно и идет в театр, не

испытывается, и актеры в ее глазах получают слишком невыгодную себе оценку. Все одно к одному: актер глупо оговорится, публика не во время развеселится, а это в значительной степени расхолаживает всех действующих лиц; исполнители, как говорится, выходят из своих ролей.

Через это сценическое действие утрачивает свой вид и пьеса терпит незаслуженное *fiasco*.

Для избежания этого зла есть рациональное средство: внимательнее относиться к делу и тверже заучивать свои роли. Но где теперь найти таких, по истине, жрецов искусства?! А ведь только этим и можно достигнуть точной передачи мысли автора, без вольных и невольных погрешностей искажения. Крупные оговорки есть следствие уродливой актерской привычки говорить на сцене своими словами, мало придерживаясь текста пьесы. Я не знаю каким образом развивается эта пагубная привычка в провинциальных актерах, но знаю, что ею они щеголяют друг перед другом, как особенно выдающейся услугой родному искусству. Подобное небрежное отношение к делу, допускаемое невежественными служителями сцены, разумеется, находит себе место только в провинции, где современные театральные деятели смотрят на искусство исключительно с точки зрения материальной, где преследуются исключительно только гроши. Эти грошовые представители храма Мельпомены в последнее время дошли до такой поражающей смелости, чтобы не сказать более, что переделывают, в смысле перефразировок и самовольных добавлений, классический репертуар. Язык Шекспира, Гоголя, Грибоедова, этим господам кажется устаревшим настолько, что без их комментариев и без их соли, эти авторы идти уже не могут. Должно быть поэтому провинциальная сцена в настоящее, время производит удручающее впечатление и значение драматического театра в провинции теперь не превышает какого-нибудь ярмарочного балагана с труппою бродячих комедиантов. Это обстоятельство, главным образом, и ведет к окончательному упадку сцены, которая уж и без того давным-давно не блещет должным морализирующим и воспитательным характером для толпы.

На подмостках казенных столичных театров, оговорки не встречаются почти совсем, вследствие того, что представителям этих сцен положены границы и предъявлены к ним строгие требования относиться к искусству честно и благородно. Положим, что столичные актеры имеют несравненно более возможности к этому честному и благородному отношению, нежели провинциальные, которым, пожалуй, это может послужить отчасти оправданием, - в силу того, что столичным актерам на разучивание ролей дается время довольно продолжительное, а именно месяц и даже более, что репетиций для одной пьесы у них бывает от 8 до 15, тогда как провинциальные должны приготовить роль в день, много - в два, и играть ее с одной или двух репетиций. Но все-таки и при таких относительно тяжелых условиях, извиняющих многое, настоящему артисту можно достигнуть некоторой порядочности в отношении честной исполнительности требований искусства и стать выше обычного уровня, заполненного в данное время какими-то необразованными, полуграмотными "выскачками", ничего общего с театром не имеющими и выплывшими на подмостки Бог знает откуда.

Но с другой стороны, если бы разбросать столичных актеров по русским захолустьям, то не многие из них долго продержали бы знамя "честного и непорочного отношения"; большинство сбилось бы на традициях, если так можно выразиться, своих захолустных коллег и впало бы в непростительные "отношения", взваливая все это, разумеется, "на глупые требования не чуткой провинциальной публики". Конечно, это заведомая ложь, но ведь нужно же на кого-нибудь свалить, нельзя же признаться в собственной несостоятельности!

Из нижеприведенных анекдотов можно заключить, что многие из актеров не просто оговаривались, а умышленно перевирали или присочиняли целые фразы для того, чтобы заставить зрителя улыбнуться. Наиболее наивные думали на этих улыбках построить свой успех!

Самым удивительным перевираанием ролей славился в продолжение слишком пятидесяти лет известный провинциальный актер Григорий Алексеевич Выходцев<sup>[3]</sup>. Про него даже говорили, что он "врет классически"

и имя его в наших закулисных сферах было нарицательным, - "он врет, как Выходцев", - замечали про кого-нибудь, кто уж чересчур переходил Рубикон правды.

Многие места в пьесах, которые для него казались непонятными или сухими, он разбавлял собственным остроумием самого сомнительного свойства. Он не церемонился ни с какими пьесами, будь ли то драма или пустой водевиль, классическая трагедия или глупая оперетка. Для того чтобы угодить "райской" публике, Выходцев позволял себе грубый шарж, в виде "отсебятины", доходившей иногда до неприличности, до скабрёзности. На заслуженные укоры интеллигентных посетителей, он обыкновенно отзывался так:

- А что ж? - Хучь и не того, да зато смешно...

В "Ревизоре", играя городничего, он так выражался в первом действии: "и вижу я во сне вдруг, что приперли ко мне две черные крысы зеленого цвета, понюхали и ушли"; и далее: "пока он говорил о вавилонянах, да об ассириянцах - так еще ничего, а как дошел до Македона Александровского, как хватит иконой об пол, так хучь стулья вон выноси!"

И когда, ему, однажды, после подобной нелепицы, не рекомендуемой умственный запас его, кто-то из публики заметил:

- Разве можно Гоголя искажать?

Он пресерьезно ответил:

- Я не искажаю, а истолковываю!

В пятом же действии, Выходцев так ругался на купцов: "ах, вы краснопузые черти! Ах, вы самовары не луженые! Ах, вы едондоры! Ах, вы интенданты военные!" и т.д. в этом же духе.

В "Испорченной жизни", играя Делакторского, он тоже отличался: вместо фразы "и когда дьявол хотел соблазнить пустытника, он всегда являлся в

женском платье, - это его любимый костюм", Григорий Алексеевич говорил: "И когда дьявол проклятый хотел соблазнить пустытника, то всегда являлся под женской юбкой, - это его любимое местопребывание".

А как он переделывал стихи Грибоедова в "Горе от ума", так лучше умолчать; достаточно сказать, что он вел всю роль Фамусова своими словами.

Впрочем, как характерный образец его поэтического творчества, приведу его выходной монолог четвертого действия:

"Эй, сюда! Фонарей, свечей и люстров больше! Где черти, дьяволы и домовые? Ах, это ты, Софья Павловна, срамница, Совсем негодная девица, Ни дать, ни взять, Как упокоившаяся мать: Чуть только по нужде я отвернусь, А она глядь! преспокойно стоит И с молодым мужчиной ляды точит".

Однажды, играя роль Ван Эмбдена, в известной трагедии Карла Гуцкова "Уриель Акоста", Выходцев должен был произнести в четвертом действии такую реплику, обращенную к Уриелю:

"Так просто нам скажи: Во что ты веруешь?"

Но он ее проредактировал, пригнал рифму и торжественно сказал:

"Акоста, Акоста! Скажи нам просто, Коль не секрет - Жид ты иль нет?"

Выходцев вообще страдал манией стихотворства и всякую прозу вечно норовил облечь в рифмованную чепуху. В то старое время штрафов не существовало и обуздать этого оригинала нельзя было никаким образом. Как, бывало, не убеждаешь его отрешиться от этой безобразной привычки, он всегда одинаково отвечал:

- Комик должен быть разнообразен!

Так же часто оговаривался, но не умышленно, знаменитый трагик Николай Хрисанфович Рыбаков. Впрочем, его оговорки имели уважительную



причину: в последние годы жизни он стал слаб на ухо. У него были вечные недоразумения и препирательства с суфлером, который старался для него всеми силами; из кожи лез, чтобы угодить полуоглохшему трагику, но тот все самым немилосердным образом перевирал. В молодости же Николай Хрисанфович был лучшим примером точности передачи слов автора.

В какой-то пьесе, помнится, ему следовало сказать: "она изнемогла под бременем семейного деспотизма", но он, волею судеб, передал эту фразу так:

- Она беременна семейством демона!

И произнес ее со всеми сценическими эффектами с чувством, с толком, с расстановкой.

В другой раз, он никак не мог уловить слов, усиленно подаваемых ему суфлером:

- Ты смел, как Брут!

Раза три суфлер их повторил, но Рыбаков никак не мог уяснить их смысл: ему слышится все что-то очень не вяжущееся с ходом пьесы. Наконец, после большей паузы, он говорит:

- Ты съел бутерброд!

Раздается в публике бесконечный хохот и полное недоумение артиста.

Припоминая оговаривавшихся, я не могу пропустить молчанием очень даровитой актрисы К., которая при начале своей сценической карьеры страдала убийственным выговором, объясняемым ее простым происхождением и решительным необразованием. Ей поручались обыкновенно бытовые роли, в пьесах же салонных занимать ее я избегал, хотя, впрочем, изредка, при недостатке персонала, приходилось мириться и с ней. Однажды, играет она в какой-то переводной французской мелодраме роль маркизы, одну из фраз которой, с свойственным ей выговором, она произнесла так:

- Что ж из этого, граф? Каждый может поступать так, как ему угодно.

Я, сидя в местах и созерцая игру своих актеров, очень понятно, срываюсь с места и бегу на сцену. Разыскиваю К. и говорю:

- Что вы делаете? Как вы говорите? Публика хохочет на вас.

Она обидчиво заметила:

- Вы вечно ко мне придираетесь...

- Помилуйте, какая же это придирка... Разве может сказать маркиза "из этого", "каждый"...

К. совсем рассердилась.

- Что ж вы думаете, - набросилась она на Меня, - что я за семьдесят пять рублей говорить вам правильно стану? - Ну, уж это - ах, оставьте!

От оговорок весьма естественный переход к актерским шалостям на сцене. Им тоже несть числа.

Шалости еще пошлее, грубее и безобразнее оговорок, потому что их авторами являются по большей части первосюжетные артисты, не боящиеся никакой ответственности за них, даже хотя бы такой, как денежный штраф. Между тем оговорки есть в большинстве продукт необразованности, недалекости, не сообразительности актеров; кроме того, по странной случайности, оговорки более присущи малодаровитым личностям, в талантливом же человеке они как-то ступшеваются сами по себе, а так как первосюжетные артисты, за редким исключением, люди развитые, грамотные, способные к анализу своих действий, то им совершенно непростительны те якобы невинные шутки, которыми они глумятся над публикой, над автором, над товарищами.

Я знаю массу шалостей, проделанных у меня в театре, и большинство из них принадлежит "известностям", в роде Милославского, К-ского, Ш-ва.

Некоторые из них я приведу для характеристики этих господ и их отношений к театру, публике и товарищам.

В Твери служил у меня актер Смирнов, который без понюшки табаку не мог пробыть буквально пяти минут, У него была так велика страсть к "березинскому", что с своей тавлинкой он никогда не расставался; даже выходя на сцену, он брал ее с собой. Поэтому, исполняя какую-либо роль, он избегал вообще гримировки с усами, а если уж было необходимо быть в таковых, то он приказывал парикмахеру давать ему не наклейные усы, а пристяжные с пружинками.

Однажды, играл он роль Франца в водевиле "Кетли или возвращение в Швейцарию". Пользуясь тем, что до его явления было далеко, он забрался в уборную, снял усы и стал понюхивать свой табачок с чувством, с толком и расстановкой.

Не успел он войти во вкус, как вбегает запыхавшийся сценариус и зовет скорей на сцену, поспеть к выходу. Смирнов опрометью бросился на сцену, впопыхах забыв зацепить за нос усы. Актер Леонов, первый заметивший, что Смирнов вышел полуразгримированным, вздумал пошутить над ним и громко сказал ему:

- К тебе усы очень идут, но жаль, что ты носишь их не на показанном природою месте!

- Эх, брат, ничего не поделаешь! Произнес в тон ему Смирнов, показывая усы, бывшие у него в руках. - Забыл их нацепить проклятых!

Николай Карлович Милославский был шутником большой руки и в своих шалостях на сцене заходил гораздо дальше чем Леонов в вышеприведенном анекдоте.

Как-то играл он Жоржа Морица в популярной французской мелодраме "Графиня Клара Дюбервиль". Во втором акте у него есть сцена с доктором, роль которого по ее незначительности всегда поручается второстепенному

актеру. Так было сделано и на этот раз, но игравший не потрудился выучить ее хорошенько и вышел на сцену, не зная ни аза, очень развязно и смело. После двух-трех фраз, исковерканных им немилосердно, Милославский обращается к другим действующим лицам, бывшим тут же и говорит:

- Ради Бога, уберите от меня этого доктора, он меня раньше пятого акта уморит!..

"Доктор" до того сконфузился, что убежал со сцены при громком хохоте зрителей и актеров.

В другой раз Милославский изображал какого-то водевильного любовника. По пьесе одно из действующих лиц должно было обратиться к нему со словами:

- Разве вы меня не узнаете? Я ваш старинный знакомый Петушков!

Актер, игравший этого Петушкова, сказал бойко эту фразу, но фамилию свою забыл, а суфлера расслышать не мог.

- Я ваш старинный знакомый...

И опять запнулся. Милославский с едкой улыбкой его спрашивает:

- А фамилию свою вы, вероятно, в дороге потеряли?

- Нет-с, зачем же, - конфузливо произнес актер и брякнул на авось: - я Индюков!

Николай Карлович состроил недоверчивую мину и, желая бедного товарища уничтожить в конец, сказал:

- У меня никогда не было знакомого с такой невыносимой фамилией... Вы обознались...

Актер совсем растерялся.

- Но, позвольте...

- Нечего мне позволять, - продолжал тем же насмешливым тоном Милославский, - а если вы мне не верите, то загляните в сегодняшнюю афишу, в ней вы подробно обозначены...

Это, разумеется, шутка, без злого умысла, но она так смутила несчастного Петушкова, что тот, как потом признавался сам, не знал как кончить водевиль.

Этот же Милославский, играя у меня в Костроме отца Моора в трагедии "Разбойники", говорил слабым голосом умирающего человека в той сцене, которая ведется по выходе его из башни. Кто-то из публики крикнул ему:

- Громче!

Николай Карлович выпрямился и, обратясь в ту сторону, откуда слышался возглас, произнес своим голосом:

- Умирающий старик громко говорить не может!

Потом опять принял образ старца и продолжал роль прежним тоном.

Очень похожее на это было устроено комиком К-ским, игравшим в старинном водевиле "Бедовая бабушка" роль старика Глова. По каким-то обстоятельствам, некоторое время суфлера заменял сценарист, крайне неопытный в деле суфлирования, а потому подававший реплики тихо и невнятно.

В середине пьесы, в известном дуэте Глова с Клучкиной, К-ский пел старческим голосом, но когда дошел до слов:

"Не слышу, матушка, ни слова, Изволь погромче говорить",

- наклонился к суфлерной будке и, обращаясь к суфлеру, произнес своим голосом:

"Не слышим, батюшка, ни слова, Изволь погромче говорить".

В сущности это находчивость, но строго судя тоже шалость.

Еще славился в провинции шалостями актер Ш-в, который особенно неудержим был в водевилях. Например, в типической сцене "Помолвка в Галерной гавани", играя одного из чиновников, Ш-в написал в альбом на сцене экспромтом такие вирши, сейчас же и прочитанные им:

"Дай Бог, чтоб жизнь твоя шла просто! Чтоб деток было бы штук со сто: Полста твоих, полста жены... Мы для труда все рождены".

В драме Дьяченко "Князь Серебряный", Ш-в изображал Максимушку, сына Малюты Скуратова. Перед спектаклем Ш-в поспорил с кем-то из публики, что в этой драме, времен XVI века, он заговорит по-французски.

И заговорил. В самом конце первого акта, после милостивых слов Иоанна Грозного:

- Дать ему сорок соболей на шапку!

Ш-в ответил с низким поклоном:

- Merci!

Разумеется, вся иллюзия была убита одним этим словом; и что же? не чуткая публика наградила еще за это не в меру шаловливого актера аплодисментами.

Вот при каких отчаянных условиях ведется театральное дело в провинции. Невольно появляются такого рода сопоставления: в старое время, при зарождении провинциальной сцены, когда были актеры, серьезно относившиеся к делу, театр процветал и имел громадное воспитательное значение, а теперь, когда сцена должна была бы достигнуть апогея славы, быть предметом общего обожания, - она падает?... Это наводит на серьезное

размышление, в особенности мне, старому антрепренеру, за нее обидно и больно...

## IX

*Симбирская и самарская антрепризы. - Побег труппы из Симбирска. - Зорина и Запольская, впоследствии опереточные звездочки. - В.Н. Андреев-Бурлак. - Начало его театральной деятельности. - "Орфей в аду". - Его дебют в оперетке. - Последующие встречи с ним.*

Я держал два театра одновременно: симбирский и самарский. Последним я управлял самолично, а управление первым поручено было актеру А. Б-му. Дела шли и там и тут превосходно, в особенности же при условии ежемесячного обмена трупп. Это делалось так: самарская ехала в Симбирск, симбирская на смену ей приезжала в Самару, а по истечении месяца разъезжались снова. В это время у меня обе труппы были полны талантливыми личностями, пользовавшимися заслуженным успехом у местной публики.

Вдруг, в самый разгар сезона, приезжает ко мне в Самару один из симбирских театралов и говорит:

- Неприятных известий из Симбирска не имеете?

- Нет, а что такое?

- Б-ский с вашей труппой уехал в Оренбург... Я к вам нарочно приехал предупредить, чтобы вы во время могли что-либо предпринять...

Поехал я на место происшествия и, к крайнему моему огорчению, удостоверился в истине известия. При расследовании причины исчезновения законтрактованных актеров, следовательно людей, связанных обязательствами, выяснилось: когда в предшествующем сезоне я держал оренбургский театр, старый, полуразвалившийся, мне крайне

симпатизировали как военный губернатор Крыжановский, так и гражданский Боборыкин, обещавшие содействие построить на следующий сезон новое театральное здание.

- Я скоро буду в Петербурге, - сказал мне однажды Крыжановский, - и, вероятно, выхлопочу разрешение и даже пособие на сооружение театра. Но чтобы не остаться на будущий сезон без труппы для нового театра, я должен заручиться теперь же согласием антрепренера, желающего его эксплуатировать. Вы как на этот счет думаете, Николай Иванович?

Я ответил, что с удовольствием оставлю за собою театр, если только не будут тягостны условия.

- За первый сезон вам ничего не придется платить, - объявил он, - а относительно последующих, это уж дело города.

- На таких условиях, я безусловно ваш антрепренер.

- Отлично, но вы должны дать мне обеспечение.

- В настоящее время для меня это трудно, ваше превосходительство, так как все капиталы при деле.

- Впрочем, у меня есть ваши деньги, - сказал губернатор.

- Какие? - удивился я.

- Да ведь я не платил вам за свою ложу, кажется, и Боборыкин тоже. Сделайте расчет сколько придется получить вам за сезон с нас обоих.

Я стал было отказываться от этих счетов, но Крыжановский настоял на своем. Вышло что-то около тысячи рублей.

- Вот это и останется вашим залогом, - сказал он. - А когда в будущем году начнете спектакли - они будут вам возвращены в неприкосновенности.



В ожидании постройки театра я проживал в Оренбурге без всякого дела. Крыжановский уехал в Петербург и долгое время там пробыл. Относительно театра он ничего не сообщал, рассчитывая на ограниченность времени, в промежуток которого вряд ли можно было справиться с такою постройкою, как театр, я принял предложения от городов Самары и Симбирска и отправился туда летом для предварительных работ и для составления трупп. Оренбургский же театр я предполагал иметь только через год, т.е. на предбудущую зиму. Но случилось не так: вскоре после моего отъезда приехал в Оренбург Крыжановский и поспешно принялся за работы. Когда здание было готово вчерне (это было осенью), он хватился меня. Ему сообщили, что я антрепренерствую на Волге. Как раз в это время, он предполагал совершить какую-то деловую поездку, кажется, в Нижний-Новгород и хотел по пути заехать ко мне для личных объяснений по поводу театра.

Заезжает он в Симбирск и как раз в день спектакля.

Спрашивает в театре меня. Ему отвечают, что сам я с труппой живу в Симбирске, а здесь есть мой уполномоченный Б-ский, известный ему еще по Оренбургу.

В разговоре с Крыжановским, Б-ский стал отрицать всякую возможность с моей стороны заняться постановкою спектаклей в Оренбурге в этом сезоне.

- Иванов в данную минуту в безвыходном положении, - сказал он, - потому что оба контракта его преисполнены тягчайшими параграфами, в силу которых ему нельзя отлучиться из этих мест ни на неделю.

- Поэтому, Оренбургцы обречены на нынешнюю зиму сидеть без театра! - произнес Крыжановский.

- Зачем же? - подхватил В-ский. - Если нельзя ехать туда Иванову, то можно ехать другим.

- Ну, где теперь этих других возьмешь?

- А вы, ваше превосходительство, поглядите сегодняшний спектакль, и если он вам понравится, то вся здешняя труппа к вашим услугам...

- Каким образом? Ведь вы служите у Иванова...

- Полуслужим, ваше превосходительство! Мы образуем из себя товарищество и берем этот театр от арендатора Иванова, у него же своя самостоятельная труппа в Самаре.

Б-ский преступно лгал, в чаянии поживиться от нового оренбургского театра. Крыжановский просмотрел спектакль и остался им доволен.

- И так, ваше превосходительство, мы согласны, - сказал Б-ский, - но только при условии, если обеспечение Иванова, имеющееся у вас, поступит в нашу пользу. Обещание им нарушено, следовательно его залог пропадает...

Не желая оставлять свой город без труппы, Крыжановский согласился на это, и Б-ский, подговорив всех товарищей и посуля им большие выгоды, отправился в Оренбург.

Найдя Симбирский театр полуразоренным и признавая себя ограбленным, я хотел было пуститься в погоню за беглой труппой, но по зрелом размышлении решил, что вряд ли придется мне убедить их вернуться к своему долгу, что эти легкомысленные господа по своему обыкновению не променяют призрачного счастья ни на какие блага и будут непоколебимы в своем намерении...

Нужно было озаботиться приобретением новой труппы для Симбирска. Кто-то посоветовал мне проехать в город Вольск, где будто бы застряли актеры, дававшие свои представления в сараеподобном балаганчике. Являюсь туда и действительно нахожу почти полную труппу. Все они с большой охотой согласились служить у меня и тотчас же, вместе со мной, отправились на место служения.

Труппа эта замечательна была тем, что женский ее персонал состоял из сестер Зориной и Запольской, тогда только что начинавших свое поприще. С ними была еще третья сестра, девочка лет двенадцати, иногда тоже выступавшая в неответственных ролях. Эти молодые артистки быстро завоевали любовь публики и с подмостков Симбирского театра, имена их стали получать известность, в особенности выдвинулась Вера Васильевна Зорина, в короткое время сделавшаяся опереточной знаменитостью и пользовавшаяся громадным успехом на частных сценах обеих столиц. Это первая Стеша из "Цыганских песен", неподражаемая в ролях подобного типа. У меня она вместе с сестрами получала, кажется, семидесяти пяти рублевый оклад жалованья, впоследствии же, в апогее своей славы, она имела тысячные ангажементы. Впрочем, это ни сколько не удивительно, - все знаменитости всегда начинали с маленького и доходили до большого путем строгой постепенности. Так-то вернее и крепче. Выплывавшие же сразу редко удерживались на известной высоте...

Хотя и эта труппа, не говоря уже о Зориной и Запольской, была тоже не дурна, но таких сборов делать, как делала сбежавшая, не могла. По этому Самару я принужден был поручить своему сыну, а сам остался в Симбирске для поправления дел.

В это время в Симбирске проживал театрал и меценат Дмитрий Иванович Минаев<sup>[4]</sup>. Однажды, является ко мне от него молодой человек, назвавшийся Василием Николаевичем Андреевым. и просит пожаловать к "дяде Дмитрию Ивановичу для очень важных переговоров".

Вместе с Андреевым отправляюсь к Минаеву, который встретил меня словами:

- Хотите иметь большие сборы?
- Как же, помилуйте, не хотеть...
- Ну, так присаживайтесь и поведемте умные разговоры.

Усадив меня в мягкое кресло, радушный хозяин заговорил:

- Вам нужно поставить "Орфея в аду"... На оперетке вы наживете не сотни, а тысячи...

- Так-то оно так, но постановка "Орфея" сопряжена с громадными издержками, которые при настоящем положении легко могут не окупиться.

- Вздор! Всегда окупятся...

- Да, наконец, и труппа у меня не такова, чтобы стала разыгрывать такие сложные вещи, как оперетка...

- Я уж распределил роли, - все они прекрасно расходятся: жену Орфея должна играть Зорина, общественное мнение - Запольская, амура - их маленькая сестренка, Юпитера--вы, а Ваньку Стикса - изобразит Вася, - сказал Минаев, указывая на Андреева. - Он давно порывается попробовать себя на сцене и уж сколько раз упрашивал меня, чтобы я походатайствовал за него перед вами...

- Так зачем же непременно выступать в оперетке, можно в комедии или драме...

- Так дебютировать, просто, нельзя, - возразил Дмитрий Иванович, - нужно обязательно с помпой... Да вы относительно оперетки очень-то не беспокойтесь, потому что хлопоты по ее постановке я с вами разделю пополам. Например, я сделаю на свой счет костюмы, сам нарисую необходимые декорации...

- А хор? - перебил я его.

- Я уж позаботился об этом: будут петь архиерейские певчие.

Я покончил с ним на следующих условиях: с трех первых сборов я уплачиваю ему десять процентов на покрытие его расходов, четвертый -

делим пополам, из пятого - я получаю двадцать процентов, а все последующие, без всяких вычетов, поступают в мою пользу.

Минаев в расчетах не ошибся: действительно, "Орфей в аду" имел невероятно громадный успех и дал более десяти полных сборов под ряд. Оперетка была тогда внове, ее каскадный шик производил сильное впечатление на провинциалов, не видавших ничего, кроме снотворного драматического репертуара старого времени. Вот что способствовало главным образом внедрению на русскую сцену этого растлевающего французского продукта, крайне нелепого, крайне неуместного для такого народа, который привык видеть себя в известных рамках всегда и во всем.

Скачок от тяжелой, глубоко-нравственной драмы к легкомысленной оперетке, был так нерасчитанно резок, что в истории нашего театра он останется навсегда темным пятном. Оперетка не привилась и не могла, разумеется, привиться, но она произвела такую удручающую пертурбацию в искусстве, смывать которую придется веком, а не годами...

- Василий Николаевич Андреев, впоследствии известный артист Андреев-Бурлак, после опереточной роли Стикса, исполнил, и очень недурно для начинающего, Осипа в "Ревизоре" и Подколесина в "Женитьбе". Попытки его на театральных подмостках оказались удачными на столько, что он решил посвятить себя сцене, предварительно отказавшись от капитанства на волжских пароходах, каковая должность давала ему довольно приличное вознаграждение. У меня же он удовольствовался сорокарублевым содержанием и прослужил до конца сезона. Там образом, первые шаги по сцене Бурлак сделал у меня в самое непродолжительное время составил себе видную репутацию талантливейшего актера.

- Во время моего первого знакомства с ним, он был очень молод, здоров, румян и жизнерадостен. Помнится, не пил и даже не курил. Судя по внешнему виду, он должен был быть долговечным, но на самом деле случилось иначе. Спознавшись с актерством, с их бесшабашным житьем, легкомысленным нравом, он предался сокрушительной рюмочке, постепенно

разрушавшей его организм. Не имея твердого характера, трудно удержаться, будучи в актерском звании, от соблазна выпить или "для храбрости", или "с горя", - актеры на этот счет безудержный народ. А Василий Николаевич обладал характером слабым, податливым и даже подражательным, почему его тяготение к вину становится понятным.

- Я встречался с ним неоднократно после Симбирска, и каждый раз он более и более вытеснял из моей памяти образ того юноши, который возбуждал зависть своим необыкновенно цветущим здоровьем. В какие-нибудь десять лет он изменился до неузнаваемости: обрюзг, постарел, с вечной болезненной миной на физиономии. Последний раз я виделся с ним в Риге. Он приезжал ко мне на гастроли. Тут уж он совсем выглядел не хорошо: вечно-усталый, бессильный, с непрерывной одышкой, раздражительный. Я участливо осведомился о его здоровье.

- Я здоров, - ответил он мне, - но так как-то за последнее время немного расхлябался... Вот брошу все гнусные привычки - и опять человеком стану...

- Читал он в Риге "Записки сумасшедшего" и "Рассказ Мармеладова". Обе эти вещи произвели глубокое впечатление на зрителей.

## X

***Кое-что о проделках провинциальных актеров. - Н.К. Милославский, как анекдотист. - Антрепренер М-ий.***

Провинциальные актеры великие мастера на всевозможного рода проделки. "В жизни" они на ампула не делятся, - все они "безбожные" комики. Понятия о преклонности лет, а следовательно о степенности и серьезности, у них довольно-таки смутные: седые волосы не удерживают их от мальчишеских выходок. Куролесить, шалить, проказить, иногда даже злонамеренно, врожденная актерская страсть, слишком резко бросающаяся в глаза людям непричастным к театру. Кажется, нет такого города, в котором артистическая семья не оставила бы о себе несколько десятков анекдотов, преисполненных либо неодолимою глупостью, или неблагоприятным

остроумием. Из этих-то анекдотов и вытекает нелестное мнение и несимпатичное суждение публики о жрецах высокого искусства. Провинциальная публика так вооружена против актеров, что нигде, можно сказать положительно нигде, нет ровно никакого доверия к этим свободным художникам, долженствовавшим бы являться светлым лучом в полутемном царстве русских захолустий. Публика смотрит на актеров с двух точек зрения: с одной - как на уличных мальчишек, способных когда угодно накаверзнничать без всякой надобности, с другой - как на жуликов, способных посягнуть на карман ближнего без зазрения совести. Последнее было бы обидно и несправедливо, если бы в свою семью господ артисты не принимали предосудительных личностей, пользующихся простотою закулисных отношений и пускающихся на слишком не красивые проделки под видом шалости, так свойственной игривой актерской натуре. А таких личностей в театральной сфере в данное время масса, от них настоящим актерам, кажется, уже никогда не отбиться. Что этих людей ведет на сцену? Разумеется, уж не любовь к искусству. Что же? - Странное общественное положение актера, постоянно бездельничающего, вечно балаганничающего, на которого все смотрят, хотя и не доверчиво, но за то уж чересчур снисходительно, ("ну его, мол, к черту? Что с него взять? Связываться с ним не стоит, и так-то он Богом убитый человек" ...).

Это не положительное положение (извиняюсь за невольный каламбур), как хотите, очень удобно для многих, занимающихся не совсем симпатичными делишками. Вот они и полезли на сцену. А как легко нынче, при поголовной бездарности и при невежественном отношении к искусству, сделаться актером! - Только имей некоторый запас нахальства! Решительно ничего нет легче нынешних условий актерства, потому что теперь на сцену принимается всякий, без разбора, и к нему не предъявляются никакие требования относительно его предварительной подготовки, а тем более - ума, образования, воспитания, происхождения и даже паспорта. На счет паспорта в провинции очень не строго: есть - хорошо, нет - тоже хорошо. Полицию обойти никогда не трудно, всегда ее сбить можно благодаря тому, что на афишах проставляются вымышленные фамилии. Этому у меня есть

прекрасный пример: некая актриса в продолжение восьми лет путешествовала по России без всяких бумаг о личности, и муж ее, от которого она сбежала, все время не имея о ней никаких сведений, с похвальным усердием каждый праздник подавал в церковь записочку "за упокой ее души".

Нехорошие личности появились за кулисами по вине самих актеров, никогда не умевших жить тесным кружком, в мире да согласии, а главное - не умевших быть людьми серьезными, заслуживающими уважения. Их, хотя и невинные, проделки старого времени привлекли внимание людей чрезвычайно неодобрительного свойства, позорящих и без того-то неважное актерское звание. Я крепко держусь того мнения, что все неурядицы, все пошлости жизни провинциальных лицедеев, образуются именно из того, что представители сцены слишком много фиглярничают и на подмостках, и в жизни, и не умеют поставить себя на тот благородно возвышенный базис, на котором бы им подобало стоять.

О проделках современников я ничего не буду говорить, так как я от них отстал; вот уже скоро минет десять лет, как я покончил расчеты со сценой.

Я приведу несколько анекдотических эпизодов из жизни Милославского, когда-то знаменитого актера и антрепренера на юге России. Он был типичный представитель доброго старого времени актерского житья-бытья. Его жизнь дала бы богатый материал для закулисного бытописателя. Я ограничусь не многими строками про него, так как объем моих воспоминаний не позволяет слишком распространяться об одной личности.

Охарактеризовать Милославского можно не многими словами: он был актером на сцене и артистом в жизни. Благодаря уму и хитрости, все проделки его имели вид забавного случая и почти никогда не влекли за собою "серьезных" последствий. Все свои плутни он умел чрезвычайно ловко замаскировать в шалость и обращать ее в приятельскую шутку.



Случай, о котором я хочу рассказать, имел место в Нижнем-Новгороде, лет тридцать пять тому назад.

Накануне своего бенефиса, Николай Карлович был пасмурен и ажитирован, должно быть потому, что "в воздухе не пахло подарком". Это характерное выражение провинциальных бенефициантов имеет значение, так как подношения любимцам почти никогда не случаются сюрпризом и самому бенефицианту бывает известно о подарке чуть ли не первому. На этот раз, против чаяния, такового не предвиделось. В подобных случаях, крайне не учтывых со стороны публики, тщеславные любимцы обыкновенно легко выходят из "неприятного положения", выбрав из своего старья какие-нибудь драгоценности и торжественно поднеся их себе, как бы от почитателей таланта. Это так часто практикуется на сцене, что даже вошло в обычай. Милославский же хотя и признавал это обыкновение, но не находил его для себя материально выгодным, почему и придумал такую тонкую комбинацию.

Отправляется он к знакомому купцу, очень состоятельному коммерсанту, и заводит речь о завтрашнем своем бенефисе.

- Не авантажный у меня завтра праздник будет...

- Почему?

- Придется на сухую играть...

- То есть как это?

- А так: никакой признательности от нижегородцев не будет...

- А вы почему знаете?

- Знать не знаю, а предчувствую...

- А может и будет?!.

- Нет, мое сердце никогда не ошибается, - глубоко вздохнув, сказал Милославский и прибавил, - разумеется, мне не подарок нужен, а внимание, поощрение, так сказать... И внимание-то не для меня лично, а для той толпы, которая явится завтра в театр, чтобы видела и понимала, как надо чувствовать артиста... Хоть бы для шутки что-нибудь поднесли, я и за то был бы безгранично благодарен...

- Как это для шутки?

- Публично поднесли бы, а потом втихомолку назад отняли бы. Это очень часто проделывают...

- Ну, уж назад за чем же... Я от себя что-нибудь подарю, пожалуй, только прошу не взыскать, так как подписку начинать поздно, а единолично прожертвовать могу не великую толику...

- Ах, что вы! - приневолил себя Милославский сконфузиться. - Вы, чего доброго, еще думаете, что я напрашиваюсь на подарок! Не в нем дело! Для меня-то его хоть и не будь совсем, была бы только честь оказана. Поэтому, от подарка вашего я отказываюсь наотрез, а вашим очевидным расположением ко мне воспользуюсь безотлагательно.

- Чем в силах быть полезным, к вашим услугам...

- Окажите такого рода благодеяние, о котором я только что упоминал: поднесите мне что-нибудь для виду, с обязательным возвратом... Вот хоть часики свои - уложите в просторный футлярчик, да при всей честной компании и поднесите мне, а после спектакля зайдите ко мне в уборную и возьмите их с моею благодарностью. Для вас это, конечно, большого труда не составит, а для меня это будет необыкновенно важно, я, так сказать, тогда воспряну духом...

Купец было замялся:

- Часы-то золотые, пятисотрублевые, не равно как-либо брякнутся, да поломаются...

Но Милославский самым убедительным образом доказал ему, что ничего подобного быть не может, что он примет всевозможные предосторожности и возвратит их ему в целости и невредимости.

На другой день, согласно уговору, между третьим и четвертым действием состоялось подношение золотого хронометра растроганному бенефицианту. Публика сопровождала подношение неистовыми аплодисментами, а Николай Карлович, умиленный до слез энтузиазмом почитателей, крепко прижимал часы к сердцу и низко раскланивался, выражая этим беспредельную благодарность всем присутствующим за вещественное доказательство их симпатий к нему. Эта сцена, не входившая в программу спектакля, была так мастерски разыграна, что произвела сильное впечатление и на публику, и на купца-мецената, и даже на самого Милославского...

По окончании спектакля, пробирается на сцену купец и ищет виновника торжества.

- Да их уж нет-с, - объявил ему театральный сторож, - они уехали...

- Как уехал? Он хотел меня ждать в уборной...

- Может запомнили они об этом, но только уехали...

На следующее утро невольный меценат едет на квартиру к Милославскому и укоризненно ему замечает:

- Обещали меня подождать в уборной, а не подождали...

- Голова разболелась от всех этих триумфов, - потянуло неодолимо к постели...

- Не хорошо-с!.. А теперь я к вам за своими часиками, - позвольте их получить?

- Часики? Какие часики?

- Да мои-с...

- Ваши? - удивленно протянул Николай Карлович. - У меня никаких ваших часиков нет.

- Да полноте, что за шутки...

- Это, кажется, вы изволите шутить, а не я...

- Да вы это что же, смеяться надо мной вздумали, что ли?

- С подобным вопросом я к вам хотел обратиться...

- Ну, довольно баловаться, - переменял свой тон купец, - подавай мой хронометр...

- Какой вам хронометр? - продолжал удивляться Милославский. - Вы попали ко мне просто по ошибке... Никакого вашего хронометра я не знаю...

- Как не знаю? - уже серьезно накинулся на него коммерсант. - А вчера чьи часы тебе на сцену подали?

- Не знаю чьи, но знаю от кого, - совершенно хладнокровно ответил Милославский.

- Ну, от кого?

- От публики.

- Врешь! Это я тебе в шутку преподнес...

- В шутку? Извините-с, такими вещами не шутят... А если вы мне не верите, что это подарок публики, расспросите капельмейстера, товарищей, антрепренера, - они все видели при каких обстоятельствах я получил эти часы...

Так купец и не получил своего хронометра от находчивого Милославского.

В том же Нижнем-Новгороде Николай Карлович "пошутил" со мной, когда я, будучи антрепренером Костромского театра, приехал в Нижний за актерами, долженствовавшими пополнить мою труппу.

Нижегородским антрепренером в то время был заика Смольков, который не любил, чтобы ему задавали подряд несколько вопросов, он в них путался и ни на один впопад не мог ответить.

С этим Смольковым я был знаком, почему без стеснения заходил в его театр во время репетиций и виделся с нужными мне лицами, между прочим с Милославским, Константином Федоровичем Бергом (впоследствии артист Московского Малого театра), Федором Алексеевичем Бурдиным (впоследствии артист Александринского театра) и др., поехавшими из Нижнего служить ко мне в Кострому. В первое свое посещение репетиции, я позвал будущих членов моей труппы в трактир выпить чаю.

Проведя в трактире добрый час в мирной беседе, я позвал слугу и, вручая ему трехрублевую бумажку, приказываю получить с меня, что следует. Слуга, к моему крайнему удивлению, от этого отказывается.

- Уже заплачено, - сказал он и, указывая на Милославского, прибавил: - вот они отдали.

- Николай Карлович, с какой же это стати! - заметил я ему с укоризной.

- Ну, что за счеты между товарищами!

- Однако, пригласил вас я - я и должен расплачиваться!

- Все равно, в другой раз заплатите!

На следующий день снова захожу на репетицию и снова увлекаю свою компанию в трактир на беседу. При расплате повторяется вчерашняя история.

- Нет, уж сегодня очередь моя, - сказал я Милославскому и, обращаясь к слуге, приказал: - возврати назад Николаю Карловичу деньги и получи с меня...

Слуга в нерешительности поглядывал на Милославского, а тот отрицательными знаками удержал его от поползновения исполнить мой настоятельный приказ.

- Как вам угодно, Николай Карлович, - сказал я, - а это допустить не могу. Он должен получить с меня...

- Не беспокойтесь, мы и на ваш счет еще успеем погулять...

После продолжительных распрей, пришлось невольно уступить Милославскому, в чаянии отплатить ему тем же при следующей встрече. Я дал себе слово ни под каким предлогом в будущий раз ни на одну минуту не отпускать его от нашего стола, чтобы не было ему возможности снова учинить расплату, ставившую меня перед актерами положительно в неловкое положение.

Являемся опять в трактир и, несмотря на мой строгий надзор за Милославским, в конце концов оказывается, что за все уже опять уплачено. Я уже стал сердиться и доказывать не в меру услужливому и любезному Николаю Карловичу, что подобная его предупредительность может серьезно рассорить нас, и если он сейчас же не возьмет из буфета обратно своих денег, то я принужден буду избегать его компании в таких потребительных местах.

- Я за вами ухаживаю, как за будущим своим антрепренером, - шутливо ответил он, - а потому претендовать на меня вы не вправе за то, что я, может быть, и не умело, но искренно стараюсь проявить во всем мою к вам привязанность...

- Счет дружбы не портит, - сказал я и снова примирился с проделкой Милославского.

Накануне своего отъезда из Нижнего, я опять созвал приятелей в трактир, предупредив Милославского, чтобы он не наживал в моем лице себе врага...

За чаем Николай Карлович обращается к актерам и говорит:

- А как вы думаете, господа, нужно учинить проводы Николаю Ивановичу или нет!

- Нужно! - ответили хором присутствующие.

- Человек! Шампанского заморозить! - скомандовал он. - Да не закусить ли перед шампанским чем-нибудь лакомым? Как вы полагаете, господа?

"Господа" охотно согласились закусить.

- Человек! - снова воскликнул Милославский, - учини-ка нам уху из живых стерлядей, да непременно из живых... -

После этого последовало еще несколько гастрономических заказов и когда все было уничтожено, Милославский потребовал подать счет, который достигал пятидесятирублевой цифры. Наскоро пробежав его, Николай Карлович вручил мне этот Трактирный документ и с свойственной ему улыбкой сказал:

- Вот теперь можете заплатить!

Тут только я сообразил к чему клонились его предварительные полтинничные расходы. Разумеется, мне более ничего не оставалось делать, как погасить этот счет и намотать на ус вообще "шутливую" натуру Милославского.

От Милославского перехожу к более современному факту, изображающему уловки нынешних антрепренеров.

Одно время было обращено строгое внимание власть имущих да антрепренеров, в виду их частых прогаров, от которых терпели

исключительно одни бедняки актеры. Стали требовать от них залог в размере пяти тысяч рублей. Требование это имело положительную силу закона: никто не имел права взять на себя антрепризу без представления губернатору означенной суммы.

Антрепренеры пригорюнились было, но не на долго. Скоро они изобрели средство обходить это требование. Они стали набирать не "труппу", а "товарищества", т.е. будто бы актеры берут театр на собственный риск. Подобным "товариществам" разрешено было брать на себя театры без всяких залогов.

Это было уже положительным злом, так как антрепренеры не стали заключать с актерами ни контрактов, ни условий. Поэтому, актер всегда рисковал, даже при хороших делах, не получить ни копейки, при малейшем столкновении с патроном. Стали возрождаться рабы и владыки. Жаловаться властям не представлялось возможности, потому что актер сам принимал участие в антрепренерском мошенничестве, выразившемся в обходе установленного правила обеспечения известной суммой...

Один из "находчивых" (в театральном мирке, кажется, непереводающихся) антрепренеров, некто М-ский, набрав инкогнито труппу, держал в N-е театр. На афишах его крупным шрифтом печаталось: "товариществом провинциальных артистов будет исполнено то-то..." и т.д.

Однажды, один из обывателей N-а, не посвященных в мудрую механику закулисных дел и делишек, спросил антрепренера:

- Почему вы печатаете на афишах "товарищество", ведь у вас антреприза?
- Да, но ведь актеры-то между собою товарищи?
- Товарищи...
- Ну, так чего ж вам еще надо?!



## XI

***Н.Х. Рыбаков. - "Гамлет". - Страсть Рыбакова к вранью. - Оригинальное знакомство с ним. - Анекдоты про него.***

Знаменитый трагик, сперва провинциальной, потом московской сцены, Николай Хрисанфович Рыбаков был прекрасною личностью во всех отношениях. Отличаясь беспредельною добротою, общительностью, выдающимся талантом и глубоким уважением к искусству, он снискивал себе не лицемерную любовь от всех его знавших. В свое время он был типичным представителем театральной богемы, тогда мало распространенной и поэтому казавшейся слишком рельефным явлением в общественной жизни. Он был способен раздать все до последней копейки и, оставшись ни с чем, отправиться по образу пешего хождения из одного города в другой, причем расстояние не могло его смутить, будет ли то десять верст, или тысяча - это все равно. Такие прогулки для него не были редкостью, особенно в молодости. Покойный драматург А.Н. Островский, рисуя тип провинциального пешего трагика Несчастливцева в своей несравненной комедии "Лес", имел в виду изобразить другого не менее известного в провинции актера Горева-Тарасенкова, всю свою жизнь пропутешествовавшего, точно по обещанию, из города в город пешком, но на самом деле дал образ именно симпатичного Николая Хрисанфовича. В особенности в Несчастливцеве напоминает нам много Рыбакова сердечность, участливость, бескорыстность и доброта, все то, чем так избыточно был одарен случайный оригинал замечательной копии.

Все великие люди имели маленькие слабости. У Рыбакова их было две: пить и врать. Пил он сильно и это много вредило ему в развитии его таланта; кроме того, непомерное употребление спиртных напитков под старость вредно отозвалось на здоровьи, не говоря уже о слухе и зрении, которые покидали своего обладателя бессовестным образом. Живительная влага частенько заставляла его манкировать обязанностями и режиссер должен был быть всегда на стороже, чтобы во время предотвратить препятствия к представлению спектакля, могущие встретиться вследствие внезапного

загула трагика. И не только перед спектаклем приходилось ожидать каких-либо случайностей, но даже и во время его. Однажды, в Рыбинске, Николай Хрисанфович учинил такую штуку: играет он одну из лучших своих ролей - Гамлета, совершенно трезвым; проходит акт, второй, третий, начинается четвертый, - подходит явление Гамлета, а его на месте нет. Сценариус хватился Рыбакова, - бросился в уборную, режиссерскую, буфет - нигде нет. На сцене наступила уж пауза, актеры и публика в замешательстве. Я сейчас же разослал людей по всем направлениям в ближайшие трактиры непременно разыскать его и в каком бы то ни было виде доставить на сцену. Занавес пришлось опустить на пол-действии и оставить зрителей в недоумении. Через несколько минут прибегает один из посланцев и докладывает, что буфетчик трактира под названием "Комар", сообщил ему, что Николай Хрисанфович недавно был, поспешно выпил несколько стаканчиков водки и отправился поспешно в театр. К этому прибавили, что он был в "особенном костюме и вымазанный", т.е. в тоге датского принца и нагримированный. Прождав его еще некоторое время и потеряв надежду на его возвращение, я приказал сделать анонс, которым, ссылаясь на внезапную болезнь Рыбакова, продолжение спектакля отказывалось.

Когда публика покинула театр, актеры разгримировались и пошли домой, один из них, переходя канавку, пролежавшую неподалеку от театра, наталкивается на какой-то предмет, довольно солидных размеров и, по дальнейшим исследованиям, узнав, что этот солидный предмет имеет образ человеческий, окликнул его:

- Кто тут?

В ответ послышался ему расслабленный голос Рыбакова:

- Гамлет!

Тотчас же вернулся он в театр и сообщил об этом мне. Забрав с собою двух плотников, я отправился на место временного успокоения Николая Хрисанфовича и нашел его валяющимся в грязи во всей прелести

гамлетовского одеяния. Плотники торжественно перенесли его в бутафорское помещение, в котором до следующего утра он и пробыл.

Другая его страсть - к вранью была положительно непонятною и беспричинною. Врал он при всяком удобном и неудобном случае, не гоняясь ни за доверием слушателей, ни за эффектами, которыми непременно должны бы завершаться все из ряда вон выходящие его рассказы. Его вранье было всегда безобидно, бескорыстно и отнюдь не касалось личностей, это их безусловное достоинство. Но нельзя сказать и того, что свою заведомую ерунду он создавал исключительно для забавы слушателей, - нет, всем своим фантастическим рассказам он прежде всего верил сам безусловно и полагал, по простоте своей души, что и слушатели верят ему безусловно. Он любил иногда выставить себя героем или таким бывалым человеком, которому известны всевозможные диковины и чудеса. Николай Хрисанфович был необыкновенно богат воображением, почему репертуар его рассказов был чрезвычайно обширен и заключал в себе до того удивительные факты, часто противоречившие один другому, что когда кто-нибудь вздумает, бывало, после даже непродолжительного времени рассказать ему его же анекдотический случай, он безапелляционным тоном говорил:

- Ерунда! Это быть не могло!..

- Да вы же сами это на прошлой неделе рассказывали, - ловил его на слове собеседник.

- Врешь! Я никогда такой глупости не скажу... Это только ты со своим дурацким понятием можешь такую чушь сочинить... А если ты хочешь знать сущую правду, похожую на твою ерунду, так я тебе сейчас расскажу один факт, свидетелем которого я был лет десять тому назад...

И приведет экспромтом что-нибудь такое несообразное со здравым смыслом, так что первый анекдот, переданный собеседником и раскритикованный им самим, бледнел перед этим и казался совершенно невинным. Сомневающийся Рыбаков не любил и если кто позволял себе по

неопытности выразить ему свое недоверие к его словам, то он без всякого рассуждения называл того "дураком". На этом обыкновенно беседа временно и прерывалась, к глубокому неудовольствию словоохотливого рассказчика.

С Николаем Хрисанфовичем я познакомился при исключительных обстоятельствах довольно оригинальным образом.

Однажды, во время пребывания моего в Нижнем-Новгороде, являюсь я к знакомому своему купцу, первому театралу в городе, Остапову, впоследствии бросившему свою мучную торговлю и поступившему на сцену под именем Ярославцева, и застаю у него гостя с типичной актерской физиономией. Хозяин, по незнанию светских обычаев, не счел нужным нас познакомить, так что мы разговорились, не имея никакого понятия друг о друге. Разумеется, как у представителей сцены разговор наш был исключительно театральным. Мой собеседник между прочим упомянул о своем знакомстве со всеми провинциальными антрепренерами.

- А Иванова вы знаете? - спросил я его.

- Да как же не знать? - пробасил он в ответ и расхохотался, как бы издеваясь над моим наивным вопросом. - Это мой закадычный друг, самый старый приятель...

- Вы, вероятно, у него служили когда-нибудь?

- Ну, еще бы! Сколько раз! И теперь он со слезами меня умоляет идти к нему, да я пока раздумываюсь...

Такая беспримерная ложь меня просто поставила в тупик. Я не знал кем представить себе моего небывалого друга, которого я со слезами умоляю идти ко мне служить - сумасшедшим или наглецом?

- Чего же вы раздумываетесь? - наконец, после некоторого молчания, обратился я к нему с новым вопросом.

- На счет жалованья расходимся... А вы сами-то этого Иванова знаете?

- Знаю.

- А знаете ли вы прошлогодний с ним случай, свидетелем которого я был сам?

- Какой случай?

- При каких комических обстоятельствах приезжий фокусник его на три дня усыпил?

- Нет, этого не знаю. Расскажите, пожалуйста...

- Приезжает фокусник в Тверь и обращается к Иванову с просьбою уступить ему на один вечер театр. Иванов сдать театр был не прочь, но заломил что-то очень несуразную цену. Фокусник, разумеется, стал торговаться, а Иванов упрямится и ни копейки не уступает. Вот фокусник и говорит ему: "ежели ты по моему не сделаешь, то усыплю тебя на трое суток и не будешь ты ни пить, ни есть, ни свежего воздуха нюхать". А Иванов ему отвечает, подставляя к физиономии его кулак: "а не знаешь ли ты, немецкая кислота, чем этот параграф пахнет!?" Фокусник обозлился и явился вечером на спектакль. "Дон-Жуан" шел и Иванов в нем статую командора изображал. И как только взобрался командор на свой пьедестал, тут-то немец что-то такое и сотворил: Иванов моментально в величественной позе заснул, да так трое суток как монумент и простоял. Хотели его было с подстановки сорвать, да никак нельзя было, точно прилип он к ней, ни коим образом не отставал...

- Ну, это вздор, - заметил я, рассмеявшись.

- То есть как вздор? - сердито переспросил меня собеседник. - Какой же это вздор, если я собственноручно его на пьедестале все три дни ощупывал!

- Со мной ничего подобного никогда не было, - наконец, решился я положить предел этому беззастенчивому вранью. - И вас никогда не имел чести знать. Позвольте представиться - я тот самый антрепренер Иванов, о котором вы только что упоминали...

- Ты Иванов? - нисколько не смутясь, воскликнул он. - А я Рыбаков. Очень рад с тобой познакомиться...

Услыхав его фамилию, я перестал удивляться той басне, которую он рассказывал мне про меня, ибо был уже раньше наслышан об его странной страсти к импровизации необыкновенных "фактов".

- С какой стати вы про меня такую чепуху врите? - спросил я Рыбакова.

- Действительно, я соврал, но только не про тебя соврал, а про другого Иванова...

С этого началось нате знакомство, продолжавшееся до самой смерти его. Я сохраняю о нем самые добрые воспоминания, как о бескорыстном, неизменном друге и лучшем товарище из всех, которые попадались мне во все время моей закулисной деятельности. Большой похвалы для него я не могу сказать...

Вся жизнь Николая Хрисанфовича преисполнена разнообразными анекдотами забавного свойства. Еще и теперь, несмотря на значительную отдаленность времени службы его на частных сценах, в провинции живо воспоминание об этой талантливой и оригинальной личности. Упоминание его имени всегда вызывает массу рассказов о нем, до сих пор сохраняющихся за кулисами всех российских театров. Имя Рыбакова так крепко связано с провинциальной сценой и традиции его еще настолько живучи, что даже самый молодой актер, только что вступающий на театральные подмостки, уже основательно знаком с личностью этого незабвенного трагика и живо представляет себе его массивную фигуру, заключающую доброе сердце и бесконечно анекдотический характер.

Вот примеры его рассказов, которые обыкновенно импровизировались им во время гримировки.

- Когда служил я в Киеве и посещал Лысую гору, познакомилась со мной одна молоденькая ведьма. Мы с ней больше по любопытству сошлись: она об

актерах не имела понятия, а я их сестру не мог себе уяснить. Ну, ладно, ходим, значит, на свидания и разные разговоры разговариваем.. Наш брат актер пришелся ей, значит, по самому вкусу, а мне она была без всякого удовольствия, потому что с хвостом и нечесаная. Чесаться им по ихнему закону запрещено. Ну, хорошо. Сезон театральный подходит к концу и мне нужно было в Москву на пост ехать. А денег-то у меня в то время - ни одного франка. Прихожу я на Лысую гору, вызываю свою Угядку (это так знакомую ведьму звали) и говорю ей: "Пешком идти в Москву не хочется, занять денег не у кого, - не можешь ли ты у своего начальства малую толику добыть и меня ими под верное обеспечение ссудить? Я тебе, говорю, свою библиотеку в залог оставлю". Она мне в ответ пропищала: "денег мы не признаем и при себе их не держим, но бесовскою властью обладаем, так что я тебя могу в лучшем виде на даровщину в Москву доставить". За это я выругался: "как, говорю, ты смеешь мне предлагать на помеле ехать?" "Зачем на помеле, отвечает, на каком угодно инструменте поезжай. Вот хоть на этом бревне отправляйся". "Ну, на этом-то, пожалуй, говорю, можно, потому что оно все-таки больше солидности имеет, чем помело".

Уговорились мы с ней учинить мои проводы на другой день... На следующее утро уложился я, взял чемодан под левую руку, под правую на всякий случай зонтик захватил и отправился на условленное место, к бревну. Прихожу, а уж ведьма-то меня ждет с творожными ватрушками, это она мне их полтора штуки на дорогу напекла. "Ну, говорит, садись да и улетай". Обхватил я бревно ногами, а она какие-то непонятные три слова произнесла, плюнула в мою сторону, - я и взлетел. Летел, летел, летел - наконец, глядь, за что-то левой ногой задел, оглянулся - Иван Великий. "Ну, теперь спускайся, приказываю я бревну, но только потихоньку". Оно и спустилось, да неудачно - поперек Тверского бульвара расположилось, так что земли-то я никак не мог достигнуть, пришлось на воздухе проболтаться всю ночь, пока утром меня обер-полицеймейстер из окна не увидал. Бревно-то было так велико, что через весь бульвар с крыши на крышу перекинулось, как воздушный мост... Сбежались городские и спасительные круги начали ко мне бросать, но только никак не могли их до меня докинуть. Пришлось им за

пожарной лестницей сходить. Приволокли ее и приставили к бревну. Я и полез по ней, но только дошел до половины, как хватить - лестница-то до земли сажени на три не достает. Чтош было делать? "Растопырьте, братцы, говорю городовым, руки - я спрыгну". Ну, и спрыгнул. Повели меня к полицеймейстеру. "Что ты, говорит, за человек? И откуда, говорит, ты это бревно приволок?" Нельзя же обманывать полицию, я и признался, что по знакомству с ведьмой на нем с Лысой горы в Москву приехал... И вышел через это вопиющий скандал: меня в двадцать четыре часа из города вон выселили...

- Но тут вы, вероятно, проснулись? - спросил кто-то с улыбкой.

- Дурак! Чего лезешь, коли тебя не спрашивают! - закричал обидчиво Николай Хрисанфович.

В другой раз Рыбаков говорил:

- Для меня никакие плодородные земли не диковина, потому что я видел такие удивительные страны, каких вы себе и представить не можете. Например, когда я был в Олонецкой губернии, то узнал, что существует там один такой сверхъестественный уезд, что стоит только на каком-нибудь поле его бросить хотя одну спичку, а через год вырастает на этом поле целый сосновый лес. Очень земля восприимчива...

- Ну, это еще что! - перебил его комик Глушковский. - Я вот знаю один из уездов Оренбургской губернии, так много поинтереснее. В нем от спички-то не лес вырастает, а прямо спичечная фабрика.

- Ну, и дурак! - решил Рыбаков.

Или вот еще о постройке какого-то столичного театра, свидетелем которого он непременно был сам:

- Прежде чем строить его начали, стали в землю вбивать сваи... Только войдут они, сваи-то, в землю и сравняются с площадью, сейчас же еще



другую партию свай поверх тех бьют. И таким образом штук сорок их друг на дружку в земле стоймя ставили. Это всегда так фундаментальные здания строят... Вот это вбивали-вбивали и вдруг из Парижа заказное письмо приходит. Пишут в нем: "остановитесь; ваши сваи на самом красивом месте в летнем саду сажени на четыре высунулись и производят безобразие". Ну, наши, конечно, остановились, потому что войны не хотели, и послали туда телеграмму: "облепите сваю в статую, и пусть она у вас будет на манер памятника, а подпиливать ее не смейте, потому что она казенная".

- А вы, Николай Хрисанфович, не видели этой высунувшейся сваи?

- Да как же, братец, не видел? Разумеется, видел, но только тогда, когда ее еще в русской земле вбивали.

Подобное вранье его называли "классическим" и всегда нарочно его подзадоривали к нему, чтобы подивиться его бойкой фантазии, никогда не стесненной никакими рамками.

Но есть анекдоты про Николая Хрисанфовича другого характера, более интересного, даже не лишеного своеобразного остроумия и непринужденного юмора.

Однажды, просит он меня поставить для него драму "Велизарий", заглавную роль которой он считал своею коронной.

- Нельзя, - отвечаю я, - подходящих костюмов нет.

- Как нет? Мало ли у вас разного тряпья имеется.

- Кое-как "Велизария" ставить нельзя...

- Зачем кое-как, - мы его на ура разыграем...

- Я не относительно актерских сил говорю, а про костюмы...

- У меня есть свой костюм, мне не надо... Может и у других что-нибудь из своего наберется...

- Ну, хорошо! А во что мы оденем аланов?

- Аланов? Да это самая простая штука. В древности-то аланы, тоже что ныне уланы. Нарядить их в гусарские куртки, - вот тебе и все...

В другой раз, Николай Хрисанфович, играя роль Швейцера в излюбленной провинциею трагедии Шиллера "Разбойники", разрядился самым невероятным образом. Путем долгого размышления он дошел до того, что перед публикой явился какою-то пестрой чучелой. На плисовые русские шаровары он надел колет француза, сапоги натянул с испанскими раструбами, на плечи набросил плащ Альмавивы, голову покрыл турецкой чалмой...

- На что ты похож? - обратился я к нему, первый раз в жизни видя столь оригинальный костюм Швейцера. - Разве можно одеваться таким уродом?

- Почему же не можно? - удивился он моей наивности и с чувством собственного достоинства разъяснил: - Нужно всегда вникать в роли поглубже. Рассуди-ка ты сам - Швейцер-то кто?

- Разбойник!

- Ага! - радостно воскликнул Рыбаков, точно уличив меня в сознании. - Разбойник! А разве для разбойников мода существует? Они что украдут - то и носят! Даже пословица такая есть: "доброму вору - все в пору"... Примерно, подвернулся разбойнику под руку русский мужик - он сейчас с него цап-царап шаровары - и в носку; удалось стянуть с проклятого турки чалму - и в носку; оплошал француз колетом - в носку; пришлось с испанца стащить плащ - в носку. Вот тебе самый правдивый костюм разбойника и вышел!

Рыбаков очень любил роль Бессудного в комедии Островского "На бойком месте". Играл он ее не один десяток раз и знал всю наизусть превосходно, но

тем не менее всегда нуждался в подсказывании суфлера. По укоренившейся привычке, многие актеры, как бы хорошо не знали своей роли, без суфлера не могут двух слов связать на сцене. К таким принадлежал и Николай Хрисанфович.

Однажды, когда принимал участие в этой комедии Рыбаков, по оплошности помощника режиссера суфлер не был посажен в свою будку, а занавес взвилась. Нужно заметить, что суфлерская будка была так неудобно устроена, что вход имела со сцены, посредством люка. Таким образом, при открытом занавесе суфлеру не представляется никакой возможности проникнуть в подполье и приступить к своим обязанностям.

Как известно, в первом явлении два действующих лица: содержатель постоялого двора Бессудный и ямщик Разоренный. Рыбаков, по ремарке, сидел на авансцене у стола, неподалеку от него стоял ямщик... Как только увидал, при поднятии занавеса, Николай Хрисанфович, что суфлера на месте нет, куда девалось знание роли, только и вертелся на языке вступительный вопрос:

- Отпрег?

- Отпрег, - ответил по пьесе Разоренный.

Не зная, что говорить дальше, Рыбаков повторил в величайшем смущении ту же фразу и получил на нее тот же ответ. Откашлянулся он и снова пробасил:

- Так ты говоришь, что отпрег?

- Да, отпрег...

- Гм... отпрег... это хорошо... Да верно ли что отпрег?

- Верно-с, отпрег...

- Так-с... Так, значит, ты отпрег?

- Да, отпрег...

- Гм... совсем отпрег?

- Совсем-с...

После продолжительной паузы, он опять спрашивает:

- Так ты отпрег?

- Отпрег!...

- Отпрег, говоришь?

- Отпрег...

Наконец, такое безвыходное положение Рыбакову надоело и он во всеуслышание крикнул в порталы к плотникам:

- Не понимаете, черти, что ли, что занавес нужно дать...

Перед удивленными зрителями спустилась на одну минуту занавес. Суфлер был водворен на свое место и комедия продолжалась благополучно, в надлежащем порядке. Рыбаков, по обыкновению, играл так, что заставил публику забыть комический пролог, автором которого пришлось ему быть по вине рассеянного сценариста.

## XII

*Посещение покойным великим князем наследником Николаем Александровичем моего театра. - Милостивые подарки его. - Актер Б. - Служба его у меня в Самаре. - Неудавшаяся шалость. - Служба его у меня в Костроме. - Его поступление на казенную сцену. - Прodelка его с бенефисом. - Опять встреча с ним в Твери. - Его навязчивость.*

В то лето, когда в Бозе почивший великий князь наследник Цесаревич Николай Александрович путешествовал по Волге, я держал театр на Сергиевских водах, находящихся неподалеку от Самары.

Незадолго до приезда в Самару великого князя, местный губернатор, Николай Александрович За-нин, заехал ко мне и сказал, чтобы я переехал вместе с труппой на это время в Самару, дабы во время пребывания в ней высокого гостя можно было поставить один или несколько казовых спектаклей.

В день предполагаемого прибытия наследника в Самару, народ в громадном количестве толпился на берегу Волги до самого вечера, но царственного своего гостя так и не дождался. Назначенный в тот день спектакль пришлось, разумеется, отложить. На другой день, с утра, в городе было тоже суетливое движение, как и накануне, но с нетерпением ожидаемого парохода все не было видно. И власти, и жители, уже хотели было расходиться по домам, как вдруг около восьми часов вечера показывается вдали пароход, резко выделявшийся от всех других своим нарядным видом и обилием ярких флагов. Встреча великого князя была торжественная, при громогласных кликах народа и колокольном звоне.

С пристани цесаревич проехал прямо в приготовленное для него помещение, но там оставался не долго. У сопровождавшего его полицеймейстера он спросил:

- Есть ли какие-нибудь увеселения в городе?

- На сегодня был назначен спектакль, - ответил вопрошаемый, - но за поздним временем отложен до завтра, но если вашему императорскому высочеству угодно, то сейчас же можно сделать распоряжение о немедленном возобновлении его.

Наследник выразил желание провести этот вечер в театре. Очевидно он хотел рассеяться от того удручающего впечатления, которое произвел на него несчастный случай с одной из дам, сопровождавших его на пароходе.

Накануне, Николай Александрович был в Симбирске на балу, устроенном дворянством в честь его высочества. Бал этот был чрезвычайно оживленным, шумным, и продолжался до рассвета. Так как наследник предполагал пробыть на балу не долго и прямо с него отправиться в дальнейшее путешествие, то на пароходе все было готово к отплытию; несмотря на позднее окончание бала, Николай Александрович все-таки пожелал отправиться в путь, тотчас же. Симбирская молодежь, очарованная изысканною любезностью и милостивым вниманием великого князя к их празднику, в полном своем составе явилась на пароходную пристань проводить дорогого гостя. У кого-то из них явилась мысль испросить у Николая Александровича разрешения на дальнейшие его проводы, т.е. на этом же пароходе доехать с ним до Самары, а уж оттуда возвратиться на частном судне. Разумеется, последовало благосклонное разрешение и вся толпа, преобладающим элементом которой были дамы, одетые в легкие бальные платья, с берега переселилась на пароход. Лица, участвовавшие в этой затее, рассказывали, что такого необыкновенного молодого, здорового веселья, которое царило все время путешествия от Симбирска до Самары на великокняжеском пароходе, им никогда не приходилось ни видеть, ни испытать. Сам наследник был очень доволен этим случайным *parti-de-plaisir* и своею ролью гостеприимного хозяина воодушевлял все общество; простота его обхождения заставила всех забыть скучные этикетки и чересчур сдерживающие приличия, тесные рамки которых были оставлены в зале Симбирского дворянского собрания.

В числе барышень, сопровождавших Николая Александровича по Волге, была очень хорошенькая и крайне молоденькая m-lle Языкова (если только я не ошибаюсь). На ее газовое платье попала искра, вылетевшая из топки парохода, и моментально воспламенила его. Всякая, хотя и скоро поданная, помощь была бесполезна: через несколько минут перед глазами присутствующих лежал обуглившийся труп красавицы. Таким печальным происшествием закончился веселый праздник...

Вот причина грусти Николая Александровича, обладавшего крайне впечатлительной натурой. Потребность в развлечении являлась необходимою, почему, несмотря уже на поздний час, ко мне приехал помощник полицеймейстера и велел как можно скорее собрать всех, долженствующих принять участие в этом экстраординарном спектакле, осветить театр и ждать великого князя к началу. Я моментально разослал всех своих рабочих в разные концы города оповестить актеров о немедленном их прибытии на сцену.

Спектакль состоялся; Николай Александрович был очень доволен им и через полицеймейстера передал мне, чтобы я на другой день явился к нему.

Принимая во внимание поздний час, для публики непривычный, я не хотел было даже открывать кассы, но чуть только самарцы узнали, что высокий гость их присутствует при представлении, билеты ими брались с бою, и в какие-нибудь полчаса театр оказался битком набитым.

На другой день я был удостоен милостивым разговором Николая Александровича, отзывавшегося о моей труппе крайне лестно.

- А вы сами кто? - спросил он меня.

- Купец.

- Чем же вы торгуете?

- Ничем. Я плачу гильдию для звания...

После аудиенции, я получил от великого князя в подарок триста рублей, будто бы за расходы по украшению ложи, и бриллиантовую булавку, а дочь моя Екатерина, в настоящее время играющая в провинции под фамилией Бельской, большую золотую брошь, украшенную опалами, изумрудами и бриллиантами...

В Самаре, когда она еще была уездным городом, служил у меня на ролях простаков юный, хорошенький, румяный актер Б., тогда только начинавший

свою театральную деятельность. Нельзя было назвать его даровитым исполнителем, но и не возможно было отказать ему в способности к лицедействию; он был что называется полезностью: ролей не портил, но не в силах был и выдвигать их. Он отличался шаловливою натурою и однажды перед началом водевиля "Школьный учитель", в котором я играл учителя, а он одного из учеников, я случайно услышал его разговор с товарищем. Он говорил, что пошутит сегодня со мной на сцене и сорвет с меня парик. Я приготовился к этому и заметил, что В. подкрадывается ко мне сзади, с очевидною целью привести в исполнение свою шутку. Только что он протянул руку к моей голове, как я неожиданно для него, схватил его за ухо и подверг школьному наказанию, но уже вовсе не театральным манером. Б. сильно разгневался за это и отомстил мне совершенно по-мальчишески, воткнув в мой стул булавку острием вверх. По окончании спектакля я сделал ему приличное случаю замечание; он на него обиделся и до конца сезона старался держаться в натянутых со мной отношениях.

Несколько лет спустя, он напросился на службу ко мне в Кострому, когда я там антрепренерствовал.

- А шалить со старшими привычку бросил? - спросил я его.

- Помилуйте, Николай Иванович, - скромно ответил он, - тогда я был совершенный мальчишка, а теперь...

- Взрослый?

- Как видите...

- А может быть у тебя теперь и шутки возмужалые? У тебя был всегда дурной характер...

- Теперь уж я не тот! - ответил он словами Горича из "Горе от ума"...

Я нехотя взял его, точно предчувствуя оправдание своих подозрений, и, по истечении небольшого времени, оказался правым в своем мнении.



В середине сезона, Б показывает мне письмо, полученное им из Петербурга от одного из многозначущих лиц при театральной дирекции, в котором намеками предлагались услуги к устройству его на казенную сцену, за что требовалось только для каких-то "необходимых мелких расходов" пятьсот рублей.

- Ну, и что же? - спросил я его. - Пошлешь деньги?

- Послал бы, - ответил он печальным тоном, - да где их возьму? Разве вы мне одолжите?

- У меня, сам знаешь, свободной копейки нет...

- Бенефис мне можете дать...

- Да ведь ты недавно его брал?!

После этого разговора он отправился к костромскому губернатору Каменскому и, показав ему это письмо, просил ссудить его требуемой суммой под вексель, обещая выплатить весь долг немедленно по поступлении на казенную службу. Губернатор принял в нем деятельное участие и, призвав меня к себе, укорил за то, что я отказываюсь помочь ему устройством бенефиса.

- Ваше превосходительство, дав второй бенефис Б., я вынужден буду отказать в таковом другому, у которого не было ни одного, потому что все бенефисные дни у меня уже распределены.

- Ну, другому-то не так важны деньги, как ему... У него карьера, вся жизнь зависит от каких-нибудь пятисот рублей... так что я советую вам непременно устроить для него все зависящее от вас...

Делать было нечего - пришлось уделить один из дней для бенефиса Б., который состоялся при полном сборе, благодаря содействию местных властей, муссировавших благотворительность. По обычному условию, за вычетом вечеровых расходов, весь сбор поступает в дележ по равной части

между антрепренером и бенефициантом, и подобная бенефисная система имеет в провинции особое название "половинки".

Б., не дождавшись окончания спектакля, когда мы должны были приступить к разделу, в одном из антрактов явился в кассу и выманил обманным образом у кассира весь сбор, с которым тотчас же и скрылся из Костромы. Об этом был составлен протокол, но так как обвиняемого на лицо не было, то и дело это кануло в лету.

- Вот, ваше превосходительство, ваш протеже как зарекомендовал себя! - сказал я Каменскому при первой же встрече, вскоре после этого происшествия.

- Ну, кто ж знал, что он такой пройдоха! - разочарованно произнес губернатор. - Я думал, что и в самом деле у него имеется в виду нечто положительное, вечный кусок хлеба... В чужую душу не влезешь, в особенности же в актерскую...

После этого прошло много лет. О Б. я слышал, что из Костромы он явился в Петербург и с помощью "благодарности" пристроился на казенную сцену...

Я не думал, чтобы после костромской истории он не постеснялся встретиться со мной; по простоте своей я предполагал, что, завидя меня, он сочтет за лучшее перебежать на другую сторону, но... он оказался не из таких...

Очень смело и развязно отъявляется он ко мне в Тверь, когда я хозяйничал в местном театре, и гордо рекомендует себя "артистом Петербургских театров".

- Что вам от меня угодно? - сухо спросил его я.

- Сейчас я свободен - дайте мне прогастролировать у вас... Мои условия самые удобные: девять спектаклей играю я даром, а с десятого, названного

моим бенефисом, сбор поступает всецело, без каких бы то ни было вычетов, мне...

- У меня труппа полна, дела идут хорошо, так что в гастролерах я не нуждаюсь...

- Но в каких гастролерах?! - важно воскликнул Б. - Ведь я не какой-нибудь, я артист и т.д.

- Вы не тот артист, который добывает себе лестное звание артиста казенной сцены упорным трудом и признанным талантом, - ответил я ему резко, - а тот, который пробивает себе дорогу крайнею развязностью...

Б. не дослушал меня и поехал к губернатору, к которому имел несколько рекомендательных писем. Губернатор призывает меня к себе и говорит, что ему было бы желательно видеть у меня на сцене Б. Я передал ему причины, по которым всякие отношения с Б. были для меня немислимы.

- Но он так добивается этих гастролей в Твери и за него так убедительно просят, что я пообещал ему непременно уговорить вас сойтись с ним и согласиться на его, кажется, необременительные условия.

Но мне лично он крайне антипатичен и его услугами, даже бесплатными, мне воспользоваться нежелательно.

- Я понимаю вас, - сказал губернатор, - но поборите в себе враждебное чувство и дайте ему сыграть, этим вы обяжете меня.

Делать было нечего, пришлось согласиться на его гастролы. Сейчас, по выходе анонса, в городе стал циркулировать слух, что Б., мой личный враг, участвует в моем театре против моего желания, чуть ли не по приказанию губернатора. Этот слух сделал то, что жители были вооружены против гастролера и, собравшись на первый же спектакль в большом количестве, встретили его дружным шиканьем и свистом.

- Это ваши штуки! - сказал мне ничуть не смущенный Б., выйдя за кулисы.

И этот незаслуженный укор, и эта демонстрация (относившаяся исключительно, как оказалось потом, к губернатору) смутили меня до крайности, и я не знал, что сделать с бушевавшей толпой, так необдуманно вступавшейся за старого своего антрепренера. Б. попробовал было еще раз выйти, но его опять встретили шиканьем, тем не менее он начал свою роль, думая силою своего дарования заставить зрителей раскаяться в преждевременном суждении об его персоне; но публика была неумолима - каждый его выход сопровождался гробовым молчанием, а лучшие места роли приправлялись шипеньем.

На другой же день Б. исчез из Твери, оставив на мое имя коротенькую записку, в которой говорилось: "Положим, виноват я перед вами, но зачем же так бесчеловечно мстить".

Этот укор был несправедлив, обидно несправедлив. Я повторяю и теперь, на склоне дней своих, - весь этот протест публики был для меня так же неожидан, как и для Б. Не только я не принимал в нем участия, но даже не подозревал его...

### XIII

*Сын мой Григорий. - Д.А. Славянский. - Мое путешествие с ним по России и за границей. - Заключение.*

Самый младший сын мой, Григорий, с малолетства отличался блестящими музыкальными способностями; он самоучкою дошел до игры на рояле, скрипке, виолончели и друг. инструментах. С двенадцати лет он был солистом в театральных оркестрах, а с шестнадцати - самостоятельным капельмейстером. В настоящее время, имея двадцать второй год от роду, он является организатором и управителем "Русской певческой капеллы", дающей свои концерты на подмостках петербургских частных сцен. Вся печать отзывается об его концертах крайне лестно и это безгранично радует меня.

Несколько лет тому назад, от кого-то узнал Дмитрий Александрович Славянский про выдающиеся способности моего сына и упросил меня отпустить его к нему на должность хормейстера. Первоначально я отклонил это предложение, мотивируя малолетством Григория, отрывать которого от себя было жаль и боязно, но потом, когда Славянский пригласил и меня на службу в свою капеллу, единственно кажется для того, чтобы я мог не расставаться с сыном, то пришлось сдаться на его увещания и провести несколько лет в странствованиях по белу свету. Я при капелле занял роль передового, очень важную во всех артистических путешествиях. На обязанности передового лежит устройство концертов, начиная с найма зала или театра и кончая продажей билетов. Обыкновенно передовой приезжает за несколько дней раньше капеллы в тот город, в котором должен быть концерт и, устроив все, отправляется дальше, в другом городе проделывает то же и опять дальше, а по его следу едет капелла.

Д.А. Славянский доводится мне старым знакомым. В бытность мою, первый раз тверским антрепренером, он принимал участие в дивертисментах, даваемых в то время часто вместо водевиля. Он был тогда очень молоденьким, стройным юнкером, его тенор чрезвычайно нравился публике и он пользовался солидным успехом. По выходе из военной службы, посвятив себя театру, и главным образом пению, он играл у меня в Пензе и Самаре. Его излюбленную ролью был Торопка в "Аскольдовой могиле" и Иван в водевиле "Анютини глазки". Актером он был очень недурным, не говоря уже об его симпатичном пении, и публика относилась к нему чрезвычайно радушно...

Вскоре по вступлении в его капеллу, сын занял в ней выдающийся пост учителя пения. У Дмитрия Александровича зародилась гуманная идея приучить каждого своего певчего к какому-нибудь оркестровому инструменту, дабы он, по потере, голоса не оказался совершенно лишенным куска хлеба. Кроме того, музыкальные упражнения должны были способствовать большему развитию слуха. Мой сын с терпеливой энергией принялся за этот труд и в короткое время образовал из певчих довольно недурной оркестр.

С капеллой Славянского я объехал почти всю Россию, побывал в Германии, Франции и Англии. Во многих городах, особенно в волжских, я встречал много старых знакомых своих и эти встречи доставляли мне истинное наслаждение; они напоминали мне минувшие дни моей кипучей антрепренерской деятельности, моего неустанного труда. Меня радушно встречали начальствующие лица, к которым приходилось обращаться по разным обстоятельствам при устройстве концертов, и весело вспоминали о "нашем старинном знакомстве". И что же оказывалось? Они знавали меня еще детьми, а их родители со мною дружили несколько десятков лет тому назад. Называйте это как угодно, хоть наивностью, хоть сентиментальностью, но это так мило сердцу, так приятно, так симпатично самолюбию. Нужно быть непременно стариком, чтобы понять всю эту прелесть...

Иностранные земли не произвели на меня того чарующего впечатления, которое выносят обыкновенно все туристы. Впрочем, это может быть потому, что я посетил их седовласым старцем, а не юношей, который обладает по понятной причине большим воображением, меньшею рассудительностью и никаким умением сравнивать и сопоставлять. Я пожил - и мне чужая краюшка хлеба не вкуснее собственной...

Вот все, что уцелело в моей памяти. За неполноту, отрывочность и за невольные погрешности, если только таковые встретятся, еще раз прошу прощения. В заключение не могу обойти молчанием результата моей полувековой деятельности за кулисами провинциального театра. Как вступил я на сцену ни с чем, так и сошел с нее без всего. Почти одно и то же, но между тем разница без меры. Вступал я молодым, с розовыми надеждами на настоящее, мало заботясь о будущем и совсем не думая о перспективе старости. Для юноши, полного сил и энергии, нужда и недостатки нипочем, он смотрит на них с насмешливой улыбкой, в полной уверенности восторжествовать над ними, а старик падает от их назойливого взгляда, для него нет ни борьбы, ни исхода. Нет ничего хуже, мучительнее, обиднее, как сознание своей немощи. Не я один из актеров дожил до старости, доживали и другие, и все поголовно влачили незавидное прозябание в смысле

материальных средств, ибо не было примера, чтобы актер мог обеспечить свою старость. Из чего? Когда? Приятное исключение составляют служители казенных театров, но их в сущности немного, этих счастливицев перечесть можно по пальцам; а провинциальных лицедеев, устаревших, не способных, без крова и хлеба, разбросано по России бесчисленное множество... Актерская участь - самая ужасная: молод, здоров, весел - лавры, оvationи до головокружения и деньги; чуть только на лице появились складки, то там, то сям, почувствовал боль - оказываешься лишним, дармоедом, на твое место есть такой же претендент, каким и ты был прежде, тоже в свою очередь кого-то заменивший, молодой, здоровый, веселый. Видя цыганскую жизнь, придавая легко доставшимся деньгам малое значение, в вихре вечно свежих впечатлений не представляя себе старости, - ты ничего не сохранил. Ты сошел с театральных подмостков на рыхлую почву и в первый раз задумался: "мне нужен сухой угол и кусок хлеба!" Мимо тебя пробежал твой бывший поклонник и не узнал тебя: при дневном свете и в житейской у обстановке ты совсем не тот, что при газовом освещении и в мишурном блеске театрального тряпья. Первая мысль, осеняющая тебя, без сомнения: "работать!" Но на какую работу ты способен? Чему ты учился?...

Это тяжелые вопросы, наводящие на серьезные размышления. И пусть бы каждый, чье сердце рвется за рампу, кто хочет сложить свою жизнь на алтарь искусства, призадумался о завтрашнем дне, и можно быть уверенным, что хоть десятая часть спасется. Дайте мне этих благоразумных людей, и я преклонюсь пред ними своей седой головой!..

Н. Иванов.